ДМИТРИЙ ШЕПИЛОВ
АЛЕКСЕЙ АДЖУБЕЙ
НАМИ МИКОЯН
ФУРЦЕВА
ЕКАТЕРИНА ТРЕТЬЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Екатерина Алексеевна Фурцева занимала высшие посты в советской государственной и партийной системе при Хрущеве и Брежневе. Она была Первым секретарем МГК КПСС, членом Президиума ЦК КПСС, министром культуры СССР. Фурцева являлась своеобразным символом Советского Союза в 1950–1970-х гг., — волевая, решительная, властная женщина, Фурцева недаром получила прозвище «Екатерина Третья».

В книге, представленной вашему вниманию, о личности и политике Екатерины Фурцевой вспоминают известные деятели той поры: Д. Т. Шепилов, Председатель КГБ СССР и заместитель Председателя Совета министров СССР при Хрущеве и Брежневе; А. И. Аджубей, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия», зять Хрущева; Н. А. Микоян, писательница и журналист, невестка знаменитого А. И. Микояна.

- Дмитрий Шепилов, Алексей Аджубей, Нами Микоян
  - Д. Т. Шепилов
    - Смерь Сталина. Вопрос о преемнике
    - Хрущев
    - Устранение Берии
    - Хрущев у кормила власти
    - Хрущевские кадры
    - «Антипартийная группа»
  - А. И. Аджубей
    - Рядом со Сталиным
    - Берия
    - Второй доклад Хрущева
    - Зигзаги Хрущева
    - Финал
  - Н. А. Микоян
    - Хрущев и Фурцева
    - Женщина-министр
    - Еврейский вопрос
    - Вишневская о Фурцевой
    - Майя Плисецкая о Фурцевой
    - Эдвард Радзинский о Фурцевой
    - Неоднозначная Фурцева
    - Скандал в Манеже
    - Конфликты с «Таганкой»
    - Олег Табаков о Фурцевой
    - Фурцева, Ефремов и МХАТ

- Михалков, Глазунов и Фурцева
- Людмила Зыкина о Фурцевой
- Одинокая женщина
- Смерть Фурцевой
- Вместо послесловия

Дмитрий Шепилов, Алексей Аджубей, Нами Микоян Фурцева. Екатерина Третья

Д. Т. Шепилов
Хрущев и его команда
(Из книги Д. Т. Шепилова «Непримкнувший»)

Смерь Сталина. Вопрос о преемнике

Я сидел в своем рабочем кабинете в «Правде». Готовили очередной номер газеты на 6 марта 1953 года.

Около 10 часов вечера зазвонил кремлевский телефон — «вертушка»:

— Товарищ Шепилов? Говорит Суслов. Только что скончался Сталин. Мы все на «ближней» даче. Приезжайте немедленно сюда. Свяжитесь с Чернухой и приезжайте возможно скорей.

В. Чернуха был вторым, после Поскребышева, помощником Сталина.

Я ничего не сказал в редакции. Распорядился продолжать подготовку очередного номера. Вызвал машину. Предупредил, что еду в Кремль, к Поскребышеву, и спустился на улицу.

Весть эта была настолько невероятна, что не доходила до сознания и воспринималась как что-то нереальное, призрачное.

С именем Сталина связаны были все великие свершения Советской Страны, ее величие и слава. И вот Сталина нет…

Правда, уже в течение нескольких дней по Москве ползли зловещие слухи о тяжелом заболевании Сталина, Передавали разное: одни говорили, что у Сталина инфаркт сердечной мышцы; другие — что его разбил паралич; третьи — что Сталина отравили. Многое говорили.

Никаких внешних признаков недомоганий у него, впрочем, не было. Частенько после заседаний Президиума он с друзьями часами проводил у себя на даче время за ужином. Ел горячие жирные блюда с пряностями и острыми приправами. Пил алкогольные напитки, часто делал только ему ведомые смеси в стакане из разных сортов коньяка, вин и лимонада. Поэтому все считали, что Сталин здоров.

Конечно, очень близкие к нему люди не могли не замечать все большего нарастания у Сталина за последние годы психопатологических явлений. Так, например, в разгар веселого ужина с самыми близкими ему людьми — членами Президиума ЦК — Сталин вдруг вставал и деловым шагом выходил из столовой в вестибюль. Оказавшись за порогом, он круто поворачивался и, стоя у прикрытой двери, напряженно и долго вслушивался: о чем говорят без него. Конечно, все знали, что Сталин стоит за дверью и подслушивает, но делали вид, что не замечают этого. Сталин подозрительно всматривался во всякого, кто по каким-либо причинам был задумчив и не весел. Почему он задумался? О чем? Что за этим кроется? Сталин без слов требовал, чтобы все присутствующие были веселы, пели и даже

танцевали, но только не задумывались. Положение было трудное, т. к. кроме А. Микояна никто из членов Президиума танцевать не мог, но, желая потрафить хозяину, и другие должны были импровизировать какую-то трясучку.

В связи с этой прогрессирующей подозрительностью нужно было в присутствии Сталина вести себя очень осмотрительно.

* * *

Вспоминаю такой эпизод. В 1949 году на заседании Президиума ЦК под председательством Сталина слушался вопрос о присуждении Сталинских премий. Заседание шло в том историческом зале, в котором Ленин проводил заседания Совета Народных Комиссаров и в котором и сейчас стоит как реликвия его председательское кресло. Как заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК я присутствовал и выступал на этом заседании. По окончании его я решил спросить у Сталина, как обстоит дело с учебником политической экономии, последний вариант которого давно уже находился у него на просмотре. Об этом меня просили многие ученые-экономисты.

Заседание кончилось. Почти все разошлись. Сталин по среднему проходу направился к выходу, некоторые члены президиума еще толпились у боковой двери. Я торопливым шагом пошел навстречу Сталину. Бросив на меня тяжелый, пристальный взгляд исподлобья, он на секунду задержался на месте, а затем круто повернул вправо и пошел к боковой двери, где еще задержались некоторые члены президиума. Я догнал его и изложил свой вопрос. Я видел, как в его глазах большая настороженность и недоумение сменились на доброжелательность, а в уголках глаз появились веселые искорки.

Подошли А. Жданов, Г. Маленков, еще кто-то.

Сталин:

— Вот Шепилов ставит вопрос, чтобы дать возможность нашим экономистам самим выпустить учебник политической экономии. Но дело это важное. Не только наше, государственное, но и международное. Поэтому без нас здесь не обойтись. Вы не против того, чтобы мы участвовали в этом деле? — улыбаясь, спросил Сталин.

Я ответил, что я, конечно, не против этого.

— Но ведь вы очень заняты, товарищ Сталин, а учебник позарез нужен.

— Что значит занят? Для такого хорошего дела найдем время.

Андрей Александрович Жданов сказал мне потом, что я вел себя очень неосторожно. Тогда я не знал всех кремлевских тайн, был совершенно не искушен в придворных делах и тонкостях и даже не совсем понял смысл его замечания и предостережения. Очень многое стало проясняться гораздо позже, главное же — лишь после смерти Сталина.

С годами подозрительность, страхи, маниакальные представления у Сталина явно прогрессировали. Поэтому, терзаемый страхами, Сталин обычно всю ночь проводил за работой: рассматривал бумаги, писал, читал. Читал он невероятно много: и научной, и художественной литературы, и все очень крепко и по-своему запоминал и переживал. Ложился он спать, как правило, лишь с наступлением рассвета.

Перед тем как лечь спать, Сталин нередко пристально всматривался через окна: нет ли на земле или на снегу следов человеческих ног, не подкрадывался ли кто к окнам. В последнее время он даже запрещал сгребать свежий снег под окнами — ведь на снегу скорее увидишь следы.

Одержимый страхами, он часто ложился спать не раздеваясь, в кителе и даже в сапогах. А чтобы свести мнимую опасность к минимуму, ежедневно менял место сна: укладывался то в спальне, то в библиотеке на диване, то в кабинете, то в столовой. Зная это, ему с вечера стелили постели в нескольких комнатах одновременно.

При выездах с дачи в Кремль и обратно Сталин сам назначал маршрут движения по улицам и постоянно менял его.

А Берия и бериевцы, зная эти нарастающие патологические черты Сталина, умышлено ему сыпали соль на раны. Они изобретали и докладывали ему всякие фантастические истории о готовящихся покушениях, измене Родине и т. д.

* * *

…Вечером 1 марта все шло как обычно. Было заседание в Кремле. Затем все приехали на «ближнюю» ужинать. К столу по традиции подавались горячие жирные с острыми приправами и пряностями кавказские, русские, украинские блюда: харчо, чахохбили, борщ и жареная колбаса, икра, белая и красная рыба. Набор коньяков, водок, вин, лимонада.

Как всегда, прислуги никакой не было; каждый наливал и накладывал себе сам. Разъехались по домам далеко за полночь.

Последующий ход событий никто точно не знает. Утром Сталина нашли в бессознательном состоянии лежащим на полу у

дивана в библиотеке, т. е. в первой комнатке при входе направо, где он больше всего любил работать. По-видимому, после разъезда членов Президиума Сталин, непрерывно попыхивая своей трубкой, удалился в библиотеку. Здесь ночью у него произошло мгновенное кровоизлияние в мозг, Сталин потерял сознание и упал на пол у дивана. Так он пролежал до утра без сознания и без медицинской помощи. Да она и не могла быть оказана. Из-за маниакальных страхов Сталина в комнату, где он находился, запрещено было входить кому бы то ни было из охраны или прислуги.

Впоследствии Н. Хрущев мне на прогулках много рассказывал о предсмертных днях и часах Сталина. Рассказывали и другие. Тогда смысл и значение многих фактов, о которых рассказывали, были мне не ясны. Позже все предстало в своем истинном свете.

В ходе дежурств у смертного одра шла напряженная игра. Внешне все члены Президиума ЦК представляли собой дружный товарищеский коллектив, с открытыми прямыми отношениями, что было в традициях старой большевистской гвардии. На самом деле под покровом внешнего полного единства и товарищеской спаянности развивалась бешеная деятельность, чтобы решить организационные вопросы, а значит, и последующий ход событий в интересах собственного возвеличивания и собственной карьеры. Такими лицами были два члена Президиума ЦК: Л. Берия и Н. Хрущев.

Судя по многочисленным признакам, Сталин не думал о смерти и совершенно не подготавливал к этому неизбежному событию руководство страной и партией. Сталин вел себя так, словно «его же царствию не будет „конца“.

Правда, иногда Сталин делал вид, что он тяготится своими постами и хотел бы освободиться от них. Вспоминаю такой факт:

В октябре 1952 года мы, вновь избранные на XIX съезде партии члены ЦК, собрались в Свердловском зале на свой первый пленум. Когда встал вопрос о формировании руководящих органов партии, Сталин взял слово и стал говорить о том, что ему тяжело быть и премьером правительства, и генеральным секретарем партии:

— Годы не те; мне тяжело; нет сил; ну, какой это премьер, который не может выступить даже с докладом или отчетом.

Сталин говорил это и пытливо всматривался в лица, словно изучал, как будет реагировать Пленум на его слова об отставке. Ни один человек, сидевший в зале, практически не допускал возможности отставки Сталина. И все инстинктом чувствовали, что и Сталин не хочет, чтобы его слова об отставке были приняты к исполнению.

Выступил Г. Маленков и сказал только одну фразу — что нет необходимости доказывать, что Сталин должен остаться и премьером и Генеральным секретарем. «Иначе просто невозможно», — сказал он, а Сталин не настаивал на своей просьбе.

Но годы давали себя чувствовать. И Сталин вынужден был, например, ссылаясь на то, что ему это не по силам, поручить отчетный доклад ЦК на XIX съезде партии Г. Маленкову. Но этот шаг вовсе не означал, что Сталин именно так хотел решить вопрос о своем преемнике.

* * *

Вопрос о преемнике Сталина, конечно, подспудно обсуждался среди членов партии и в народе. И каковы бы ни были различия и оттенки в мнениях, все, абсолютно все сходились на том, что в руководящем ядре партии есть один преемник Сталина, подготовленный всем предшествующим ходом развития революции и внутрипартийной борьбы — это В. Молотов.

Член большевистской партии с 1906 года. Ученик и соратник Ленина и Сталина. За свою революционную деятельность Молотов многократно арестовывался. Свои «университеты» прошел не только в Казанском реальном училище и Петербургском политехническом институте, но и в многочисленных тюрьмах, в вологодской и сибирской ссылках. В. Молотов был делегатом большинства съездов партии, одним из создателей газеты «Правда» и секретарем ее редакции.

Всякому, кто так или иначе соприкасался с В. Молотовым, бросались в глаза некоторые его типические черты. Прежде всего — это партийная воспитанность и дисциплинированность, доходящая до абсолюта, до фетиша! Всякое решение ЦК, указание ЦК, даже порой телефонный звонок ответственного работника ЦК были для Молотова святыней. Все подлежало точному и безукоризненному исполнению в назначенный срок и любой ценой.

Так было во всем. Так было, в частности, в его международной деятельности. Получив директивы Президиума ЦК к участию в какой-нибудь международной конференции, Генеральной Ассамблее ООН или любого другого международного совещания, Молотов был непримирим и неистов в их осуществлении. Он обычно решительно отстранял всякие явные или замаскированные поползновения своих противников на дипломатическом поприще добиться какого-либо компромисса

со стороны делегации Советского Союза. Поэтому в международных дипломатических кругах за Молотовым укрепилось звание «Господин „нет“.

Свыше 30 лет рука об руку шел Молотов со Сталиным, с величайшим тактом отдавая ему приоритет во всем. И тем не менее Сталин, в качестве первого подступа к тому, чтобы политически дискредитировать Молотова и свести его с политической арены, приказал арестовать его жену, старую коммунистку и государственную деятельницу П. Жемчужину. Долгие дни и ночи держали ее в страшной одиночке, чтобы превратить в орудие изобличения Молотова.

Вслед за тем Сталин на Пленуме ЦК без всяких оснований выразил Молотову политическое недоверие, обвинил его в «капитуляции перед американским империализмом» и предложил не вводить Молотова в состав Бюро Президиума ЦК. Что и было сделано. В. Молотов принял это без единого слова протеста. И когда Н. Хрущев начал свою необузданную, доведенную до крайностей, лишенную всякого учета общепартийных и государственных интересов СССР брань мертвого Сталина, Молотов ни на секунду не поддался чувству личной обиды и допущенной в отношении него глубокой несправедливости со стороны Сталина. Казалось бы, что никакая сверхчеловеческая воля при аналогичных обстоятельствах не смогла бы предотвратить самую острую критику Сталина. Но Молотов обладает именно такой сверхчеловеческой выдержкой. Он решительно возражал против такой односторонней оценки и критики Сталина, которая могла бы причинить вред Коммунистической партии, Советской стране, мировому рабочему и коммунистическому движению. И он совершенно не заботился о том, чтобы в такой благоприятный для любого политикана момент повысить свои собственные акции.

Молотову вообще были не присущи черты всякого ячества, самолюбования, которые, допустим, у того же Вышинского носили характер патологического «нарциссизма», а у Хрущева раздулись до таких размеров, что вызывали всеобщие издевки.

Престиж Молотова в партии и в народе был очень высок, и казалось, что у смертного одра Сталина именно Молотов максимально активизируется и станет центром формирования руководящего ядра партии. Но этого не произошло.

Молотов сохранял свое каменное спокойствие и невозмутимость. Он, как и другие члены Президиума ЦК, нес свою вахту у постели умирающего, занимался текущими делами, но не проявлял ни малейших признаков того, что он озабочен тем, что будет завтра, когда пробьет урочный час Сталина.

* * *

Георгий Маленков. По своей натуре этот человек был лишен всяких диктаторских черт, и у меня сложилось впечатление, что он не был честолюбивым человеком. Он был мягок, податлив всяким влияниям и всегда испытывал необходимость притулиться к какому-нибудь человеку с сильной волей. И он притулялся: к Сталину, к Ежову, к Берии, затем к Хрущеву. Он был идеальным и талантливым исполнителем чужой воли, и в исполнительской роли проявлял блестящие организаторские способности, поразительную работоспособность и рвение. Он не был человеком широкой инициативы или новатором. Но когда он получал какое-либо указание от Сталина, то ломал любые барьеры, мог идти на любые жертвы и затраты, чтобы выполнить это задание молниеносно, безукоризненно и доложить об этом Сталину. Поэтому в аппарате ЦК шутили, что Маленков всегда требует, чтобы всякое поручение Сталина было выполнено «вчера».

В своей преданности Сталину и убежденности в его непогрешимости он даже не ставил перед собой вопроса: будет ли от выполнения этого задания польза или вред государству. В этом смысле Маленков был даже более правоверным, чем Молотов. В. Молотов по праву старейшего и наиболее влиятельного соратника Сталина мог позволить себе иногда в форме полувопроса, краткой реплики или подходящей шутки поспорить со Сталиным, взять кого-нибудь под защиту или поставить новый вопрос. Маленков не позволял себе таких вольностей и… действовал только по формуле: «сказано — сделано».

В напряженные дни предсмертной агонии Сталина Г. Маленков делал все необходимое, что рекомендовали ему Хрущев, Берия, Булганин, Каганович и другие для организации лечения Сталина или для решения неотложных дел. Делал это так, чтобы в случае выздоровления Сталина его действия могли быть истолкованы только как вполне верноподданнические. Судя по всему, он был действительно искренне привязан к Сталину.

У смертного одра Сталина, в атмосфере тягостных раздумий о будущем, неопределенности и тревоги среди членов Президиума ЦК, только, повторяю, Хрущев и Берия знали, чего они хотят.

Конечно, ни один человек в партии и стране не думал ни о Хрущеве, ни о Берии как о возможных преемниках Сталина на постах Председателя Совета Министров или Генерального секретаря ЦК. Но иного мнения держались они сами и всеми методами — посулами, лестью, интригами, устрашением — действовали в определенном направлении.

Все близкие к ЦК люди знали, что Хрущев — фаворит Сталина. За последний период патологические черты в состоянии диктатора все нарастали. Это обуславливало и изменения в его отношении к окружающим. Он уже опасался Берии и избегал встреч с ним. Он уже зачислял в разряд вражеских лазутчиков Молотова, Ворошилова, Микояна. В своей маниакальной одержимости он периодически менял работников МГБ и обслуживавших его лиц. Но именно в этот период дошедшей до апогея подозрительности Сталин потребовал перевода в Москву Хрущева и сделал его секретарем Центрального и Московского комитетов партии.

Но Хрущев не довольствовался положением одного из секретарей ЦК. После И. Сталина вторым секретарем ЦК был А. Жданов, а после его смерти Г. Маленков. Хрущев исходил из того, что главенствующее положение в ЦК дает возможность расставлять нужным образом кадры во всех сферах государственной, экономической и общественной жизни, руководить всеми республиканскими и местными партийными организациями, держать в своих руках все ключевые позиции управления. И Хрущев рвался на первую роль в этой сфере, лелея те же честолюбивые мечты, что и Берия, но избрав для достижения своих целей другие, обходные, пути.

В предварительных переговорах Хрущев сразу заявил, что хотел бы целиком сосредоточиться на работе в Центральном Комитете партии и освободиться от обязанностей секретаря Московского комитета. С этим согласились все, не предвидя тогда, к каким роковым последствиям это может повести. В. Молотов был по-прежнему замкнут, каменно холоден, словно все нарастающее кипение страстей не имеет к нему никакого отношения.

Назначение покладистого, не особенно самостоятельного и лишенного претенциозности Г. Маленкова на пост Председателя Совета Министров СССР казалось, как Берии, так и Хрущеву, на данной стадии наиболее приемлемым.

* * *

…После звонка М. Суслова, сообщившего мне о смерти Сталина, члены Президиума решили не оставаться с покойным, а вернуться в Москву, в кабинет Сталина, где обычно проходили заседания Политбюро, и там обсудить все неотложные вопросы.

В несколько приемов поднялись лифтом наверх. Небольшой проходной зал. Направо дверь в широкий коридор. Здесь

массивная дверь вела в просторную приемную Сталина. Большой стол и тяжелые стулья. На столе обычно лежали важнейшие иностранные газеты — американские, английские, французские и т. д., — стопки бумаги и карандаши. Отсюда дверь вела в кабинет помощника Сталина А. И. Поскребышева. Около его письменного стола во время заседаний Политбюро или приема у Сталина находились два-три полковника или генерала из охраны Сталина.

Но сейчас никто не задерживался в приемной или у Поскребышева. Все прибывшие члены Президиума ЦК сразу проследовали в кабинет Сталина. Сразу приглашен был и я.

Знакомый просторный кабинет. Справа от входной двери высокие окна, выходившие на Красную площадь. Белые шелковые гофрированные задергивающиеся шторы. В углу у одного из окон большой письменный стол. На нем чернильный прибор, книги, бумаги, пачка отточенных черных карандашей, которыми чаще всего Сталин пользовался для своей работы; модели каких-то самолетов.

Атмосфера этого первого заседания Президиума ЦК после смерти Сталина была слишком сложной, чтобы охарактеризовать ее какой-нибудь одной фразой. Но в последующие месяцы и годы я часто вспоминал это ночное заседание в часы и минуты, когда на «ближней» даче остывало тело усопшего диктатора.

Когда все вошли в кабинет, началось рассаживание за столом заседаний. Председательское кресло Сталина, которое он занимал почти 30 лет, осталось пустым, на него никто не сел. На первый от кресла Сталина стул сел Г. Маленков, рядом с ним — Н. Хрущев, поодаль — В. Молотов; на первый стул слева сел Л. Берия, рядом с ним — А. Микоян, дальше с обеих сторон разместились остальные.

Меня поразила на этом заседании столь не соответствовавшая моменту развязность и крикливость все тех же Берии и Хрущева. Они были по-веселому возбуждены, то тот, то другой вставляли скабрезные фразы. Восковая бледность покрывала лицо В. Молотова, и только чуть сдвинутые надбровные дуги выдавали его необычайное душевное напряжение. Явно расстроен и подавлен был Г. Маленков. Менее горласт, чем обычно, Л. Каганович. Смешанное чувство скрытой тревоги, подавленности, озабоченности, раздумий царило в комнате.

Это не было стандартное заседание с организованными высказываниями и сформулированными решениями. Отрывочные вопросы, возгласы, реплики перемежались с рассказами о каких-то подробностях последних дней и часов умершего. Не было и официального председательствующего. Но в силу ли

фактического положения, которое сложилось в последние дни, в силу ли того, что вопрос о новой роли Г. Маленкова был уже обговорен у изголовья умирающего, — все обращались к Маленкову. Он и резюмировал то, о чем приходили к решению.

Кажется, М. Суслову и П. Поспелову поручено было немедленно подготовить обращение от ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза о смерти Сталина.

Создана была правительственная комиссия по организации похорон под председательством Н. Хрущева, с участием Л. Кагановича, Н. Шверника и других.

Единодушно и без особого обсуждения решено было соорудить саркофаг с набальзамированным телом Сталина и поместить его в Мавзолей на Красной площади, рядом с саркофагом В. И. Ленина. При этом кто-то (не помню кто) внес предложение о сооружении в Москве монументального здания — пантеона, как памятника вечной славы великих людей Советской страны. Имелось в виду, что в пантеон будут перенесены из Мавзолея саркофаги В. И. Ленина и И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Помню, что Н. Хрущев предложил соорудить такой пантеон в новом юго-западном районе Москвы. Но решили сейчас не предрешать этого вопроса. Еще будет время подумать об этом.

Условились на следующий день созвать Пленум ЦК, на котором решить самые неотложные вопросы руководства партией и страной.

* * *

…6 марта состоялся Пленум ЦК. Впервые я попал в этот зал в марте 1943 года: здесь всесоюзный староста М. И. Калинин вручил мне боевой орден Красного Знамени за Сталинградскую битву. Впоследствии я бывал в Свердловском зале многократно и всякий раз любовался этим великим творением Казакова.

Все организационные вопросы решены были без обсуждения и, как всегда, единогласно. Пост Председателя Совета Министров занял Г. Маленков. Его первыми заместителями стали члены Президиума ЦК Л. Берия, В. Молотов, Н. Булганин и Л. Каганович.

К. Ворошилов рекомендован был главой государства — Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Кроме перечисленных лиц в состав Президиума ЦК вошли

А. Микоян, М. Сабуров и М. Первухин.

В области государственного управления и экономики взят был курс на сверхцентрализацию: гигантские по объему и значению отрасли экономики или государственного управления объединялись в одном центре, во главе которого ставился член Президиума ЦК.

Так осуществился замысел Л. Берии. Он оказался во главе огромного Министерства внутренних дел, которое объединило и бывшее Министерство государственной безопасности. Многочисленные внешние признаки свидетельствовали о том, что Л. Берия будет занимать второе место в высших органах государственного и партийного руководства. Учитывая же мягкость и податливость Г. Маленкова, роль Берии могла оказаться доминирующей в обеих сферах.

Все понимали необходимость извлечь определенные уроки из положения, сложившегося при Сталине, когда Генеральный секретарь ЦК превратился в единоличного управителя в партии и государстве, обладая колоссальной властью и фактически никому не отчитываясь. Это навлекло на партию и страну величайшие беды.

Вот почему для предотвращения образования вновь системы единоличного диктаторства решено было не иметь в партии поста Генерального секретаря ЦК.

А как же быть тогда с председательствованием на заседаниях Президиума ЦК, где решались по существу и окончательно все важнейшие вопросы жизни страны — политические, международные, экономические, идеологические? Сходились на том, что нужно восстановить ленинскую традицию: при Ленине на заседаниях Политбюро председательствовал глава Совнаркома, т. е. Ленин, а не Генеральный секретарь ЦК Сталин.

При таком порядке на заседаниях Президиума ЦК теперь, после смерти Сталина, должен будет председательствовать Г. Маленков. Что касается Секретариата ЦК, руководящего текущей работой, главным образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров, то предполагалось, что здесь по очереди будут председательствовать несколько секретарей ЦК.

Как показали события самого ближайшего будущего, Н. Хрущев, конечно, внутренне не был согласен с такой системой. Он никак не собирался поддерживать укрепление руководящего положения Г. Маленкова в партии и стране и вынашивал совершенно другие, честолюбивые планы. Но на данном этапе он не возражал против предлагаемой реформы. Он лишь предложил освободить его от обязанностей первого секретаря Московского

комитета партии с тем, чтобы сосредоточиться полностью на работе в ЦК. Это и было принято на Пленуме 6 марта.

Назначение Хрущева на пост Секретаря ЦК соответствовало его самым сокровенным желаниям. Оно знаменовало собой первый акт той трагедии, которая скоро начала развертываться на глазах всего мира и, подобно пробуждающемуся вулкану, наращивать свои разрушительные последствия. То, что был упразднен пост Генерального (или Первого) секретаря ЦК партии, было лишь формальным моментом, фактически же Хрущев с этого дня ставился в положение руководителя партии. И он очень скоро потребовал и юридического оформления своего первенства.

Хрущев

…Впервые я увидел Хрущева осенью 1937 года. В большом зале Московской консерватории шел партийный актив. Повестку я уже не помню, кажется, обсуждался вопрос об итогах июньского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 года.

Н. Хрущев появился в президиуме актива вместе с Л. Кагановичем, который в это время был народным комиссаром путей сообщения и тяжелой промышленности, а вдобавок шефствовал над Московской партийной организацией. Хрущева все считали выдвиженцем Кагановича.

Хрущев был одет в поношенный темно-серый костюм, брюки заправлены в сапоги. Под пиджаком — темная сатиновая косоворотка с расстегнутыми верхними пуговицами, Крупная голова, высокий лоб, светлые волосы, широкая открытая улыбка — все оставляло впечатление простоты и доброжелательства. И я, и мои соседи, глядя на Хрущева, испытывали не только удовлетворение, но даже какое-то умиление:

— Вот молодец, рядовой шахтер, а стал секретарем Московского комитета. Значит, башковитый парень. И какой простой…

Актив встретил Л. Кагановича и Н. Хрущева горячо. Хрущев вышел к трибуне, сопровождаемый аплодисментами. Он начал свое выступление. Видимо, тогда он еще не был так натренирован в ораторстве, как в годы будущего премьерства: говорил запинаясь, с большими паузами и повторениями одних и тех же слов. Правда, когда он разгорячился, речь пошла бойчее, но речевых огрехов оставалось много.

О чем он говорил — сказать трудно. Обо всем, что приходило ему на ум. Эта особенность его речей сохранилась и в будущем… Помню, что он говорил о необходимости хорошо подготовить к зиме квартиры. Недопустимо, что в коммунальных квартирах — в коридорах и уборных — горят маленькие тусклые лампочки («что за крохоборство»). Надо проводить в домах центральное отопление и заготовлять дрова. Говорил, что торгующим организациям и самим домашним хозяйкам надо приготовить соленья.

— При засолке капусты надо порезать туда морковочки да положить клюковки. Тогда зимой от удовольствия язык проглотишь…

Все смеялись. И всем нравилось. Правда, произносил он многие слова неправильно: средства! сицилизьм… Но говорил красочно. Речь пересыпал шутками-прибаутками. И как-то

хотелось не замечать огрехов его речи: видно, что практик, жизнь знает хорошо, опыт большой. А в остальном, наверное, поднатаскается.

Но в глубине души нет-нет да и всплывали недоуменные и тревожные вопросы: что же происходит? Ведь во главе столичной организации всегда стояли старые большевики, соратники Ленина, даровитые публицисты, трибуны революции. Куда девались эти люди? Неужели всем им выражено политическое недоверие? Да, многое неясно, мучительно неясно. Но, должно быть, все, что происходит, закономерно. Ведь троцкисты и правые — это же не миф, это действительно противники генеральной линии партии.

Такова была моя первая встреча с Хрущевым и первые подспудные и недоуменные вопросы, которые породило его появление на столичной политической арене.

* * *

После окончания войны я работал в Главном политическом управлении Вооруженных сил СССР, затем редактором «Правды» по отделу пропаганды, затем начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б).

Стояло знойное лето 1948 года. В кабинете начальника Агитпропа ЦК стояла почтительная тишина. От величественных шкафов с книгами, массивного стола, покрытого темно-зеленым сукном, лакированных стульев, дорогих шелковых драпри веяло спокойствием и торжественностью.

Вошел Н. Хрущев. Он был в белом костюме и вышитой украинской рубашке, на груди затянутой шнурком с кисточками. С фронта он ушел сразу же после освобождения Киева и работал Первым секретарем ЦК Компартии Украины. Пышущий здоровьем, загорелый, веселый, улыбающийся. Работая в ЦК, я по старой своей специальности экономиста-аграрника интересовался сельскохозяйственными делами. Следил по мере сил и возможностей и за выступлениями Н. Хрущева: Украина оставалась важнейшей житницей страны. Иногда я и сам писал по этим вопросам.

Хрущев изложил мне вопросы и просьбы, касавшиеся газет Украины, с которыми он зашел. Затем разговор переметнулся на сельскохозяйственные темы.

— Да, мне наши украинские товарищи говорили, что до войны вы много писали статей и книг по сельскому хозяйству. Я, признаться, ничего вашего не читал. Но я старый болельщик за

сельское хозяйство. Если вы интересуетесь этими делами, приезжайте к нам, кое-что полезное вам покажем в деревне… А вы знаете, я вам подарок привез: мы освоили производство магнитофонов «Днепр». Замечательная штучка. Вы знаете, если это дело развернуть, то магнитофон может заменить и лектора, и беседчика в клубах, и артистов многих. Вам, как агитпропу, это важно. Если ЦК заинтересуется этим, мы на Украине можем поставить их массовое производство. Вы знаете, у меня дача на Днепре. И вот я сам этой весной записал на пленку соловьиное пение. Просто пустил на террасе магнитофон и записал. Я вам дам диск с пленкой. До чего же здорово. Послушайте, какие трели. А на пленке не отличишь от живого пения.

Я поблагодарил. И снова подумал про себя: до чего же хороший мужик. Член Политбюро ЦК, а как просто держится. На прием пришел. На фронте каждому по ящику подарков прислал, а тут — магнитофон.

Наша с ним совместная работа началась уже после смерти Сталина. И тогда, в разное время и по разному поводу, возникали некоторые вопросы биографии Хрущева. Он очень любил рассказывать о себе: о своем детстве, о людях, с которыми встречался. Память у него была феноменальная. Он помнил числа, дни недели события или разговора, которые были 30–40 и более лет назад. Помнил имена и биографии людей, с которыми встречался даже в самые отдаленные годы. Рассказчик он был великолепный: рассказывал все ярко, красочно, вкусно, со смешинкой и перцем. Я слышал его многочисленные рассказы о себе, о прошлом и на заседаниях Президиума ЦК, и во время совместных поездок за границу, и во время довольно частых в один период совместных прогулок у меня или у него на даче.

Но при всей его любви к экскурсам в прошлое и моей любознательности, нескольких моментов из прошлого он не любил касаться и тщательно обходил их. Или на прямой вопрос отвечал что-то очень расплывчатое и быстро переходил на другие темы. Некоторые из этих вопросов нарочито обойдены и в его печатных биографиях или освещены очень неопределенно.

Сотни раз в своих выступлениях в СССР и за рубежом Н. Хрущев заявлял:

— Я рабочий-шахтер.

— Я люблю нюхать запах уголька, это напоминает мне мою шахтерскую жизнь.

— Я знаю, что такое обушок, и мне приятно пожимать шахтерские мозолистые руки.

И так далее, в таком же духе.

* * *

Газеты и журналы частенько рисовали Хрущева и в горняцком шлеме, и с отбойным молотком, и с шахтерской лампочкой. Он многократно и в ряде стран избирался почетным шахтером.

Можно с абсолютной достоверностью заявить, что здесь умышленно допускалась прямая неправда. Хрущев никогда в своей жизни, ни единого дня ни с обушком, ни с отбойным молотком в шахте не работал и вообще на подземных работах не был…

После переезда Н. Хрущева с родителями из с. Калиновки в Донбасс он очень короткое время работал учеником, а затем слесарем по ремонту оборудования. Вот и все. Остальное о его шахтерстве придумано было в более поздние годы. После гражданской войны он физическим трудом не занимался, но на протяжении последующих 35–40 лет своего архипривилегированного положения не уставал повторять, что он рабочий, шахтер, и знает, что такое трудовые мозоли…

На купоны с этих акций он получил за свою жизнь сверхобильные дивиденды. Недаром о шахтерстве Хрущева в народе ходило столько злых анекдотов.

Избегал Хрущев разговоров и о своем образовании, и раздражался, когда речь заходила об этой стороне его жизни. В своих публичных выступлениях он выдвигал очень противоречивые версии по этому вопросу.

Мне он рассказывал, что живя в селе Калиновке, только одну зиму регулярно бегал в сельскую школу, а на следующую же зиму в классе бывал лишь изредка, а затем и совсем прекратил ученье. Поэтому когда он, став премьером величайшего государства, вытащил на свет Божий свою учительницу и стал усиленно пропагандировать версию, как она обучила его уму-разуму — в этом была большая доля преувеличения. Но его бедная учительница тут ни при чем. За зиму-две его научили с грехом пополам читать букварь, но письмом он за это время так и не овладел. Конечно, может показаться, что это не вина, а беда Хрущева, что он не приобщился к знаниям, не он в том повинен.

Это и так, и не так.

В начальной школе Хрущеву учиться не пришлось по тем или иным причинам. Однако после гражданской войны 27-летнего Хрущева направили учиться на рабочий факультет при Донском техникуме. Через рабфаки получили образование миллионы людей из рабочего класса Советской страны и стали затем выдающимися инженерами, учеными, государственными деятелями. Но Н. Хрущев числился на рабфаке, а не учился, так

как занялся партийной работой в техникуме. Через несколько лет секретарь ячейки Хрущев считался уже окончившим рабфак, но знаний ему это не прибавило. В частности, и на рабфаке он не научился писать, и с большим трудом мог вывести каракулями лишь отдельные слова.

В 1929 году Н. Хрущева снова посылают учиться, на этот раз — в Москву, в Промышленную академию. Промакадемия давала рабочим-стахановцам и самоучкам-командирам производства общее образование и технические знания. Но здесь повторяется та же история, что и на рабфаке: Хрущев становится секретарем ячейки, а через несколько месяцев он вообще уходит на партийную работу в Бауманский райком Москвы, бросив ученье.

* * *

Советскую власть трудно упрекнуть в том, что она не дала возможности способному и активному рабочему получить образование. Нет, его посылали учиться и на рабфак, и в Промакадемию, но он не воспользовался предоставленными ему возможностями. В чем дело, почему так произошло? Ответ, мне кажется, нужно искать в некоторых особенностях натуры Хрущева.

Н. Хрущев по природе своей чрезвычайно моторный человек. Ему трудно сколько-нибудь продолжительное время сидеть и над чем-то работать. Он постоянно рвется куда-то ехать, лететь, плыть, ораторствовать, быть на шумном обеде, выслушивать медоточивые тосты, рассказывать анекдоты, сверкать, поучать — т. е. двигаться, клокотать. Без этого он не мог жить, как тщеславный актер без аплодисментов.

Многих удивляло: как и когда Хрущев успевает гонять по всем странам, устраивать почти ежедневно пышные обеды и ужины, бывать на всех выставках, посещать все зрелищные мероприятия, 4–5 раз в году выезжать на отдых на море, опять же с обедами, морскими прогулками, развлечениями, и… говорить, говорить, говорить…

— Когда же он работает? — слышал и я многократно недоуменный вопрос.

Но дело в том, что он (о чем подробнее скажу дальше) никогда и не работал в общепринятом смысле этого слова. Книг и журналов он никогда никаких не читал (хотя по подсказкам шпаргальщиков частенько ввертывал словечко о якобы прочитанных им книгах) и не чувствовал в этом никакой потребности. О содержании некоторых материалов в газетах

докладывали ему помощники. Его никто никогда не видел сидящим за анализом цифр, фактов, за подготовкой докладов, выступлений и т. д. Это все делалось соответствующими аппаратами, специалистами, помощниками. Он же только «испущал идеи». Причем делал это в большинстве случаев по наитию, без изучения фактов, экспромтом, импровизируя в зависимости от обстановки.

Этим часто пользовались всякие карьеристы и проходимцы, а страна и партия расплачивались за это десятками миллиардов рублей, своим престижем. Все эти черты в очень сильной степени развились у Хрущева, когда он оказался на вершине государственной власти. Но, как показывают факты, они вообще присущи были его натуре, составляли его, так сказать, генотип.

За два года совместной работы с Хрущевым в ЦК я видел единственный документ, на котором была его личная резолюция. На телеграмме от одного из наших послов. Хрущев начертал М. Суслову и мне: «азнакомица». Резолюция была написана очень крупными, торчащими во все стороны буквами, рукой человека, который совершенно не привык держать перо или карандаш.

Когда Хрущев хотел включить в свою речь или доклад, подготавливаемые помощниками либо учеными, что-нибудь от себя, он надиктовывал это стенографистке. Наговор получался обычно очень обильный и хаотичный, Затем из этого месива изготовлялось необходимое блюдо.

Поэтому, когда в корреспонденциях из той или иной страны сообщалось, что Хрущев, посетив такое-то учреждение, сделал в книге для почетных гостей такую-то запись, то здесь допускалась неточность: Хрущев сам не мог сделать никакой записи. Она делалась или помощником, или одним из членов делегации, возглавляемой Хрущевым, а он ставил свои «Хр», или в лучшем случае «Хрущ».

Однако сам Хрущев старался поддерживать миф о своем образовании: он рассказывал в своих бесконечных речах изобретенные им самим эпизоды из времен обучения в сельской школе, на рабфаке и в Промакадемии. Ссылался на книги, которые на самом деле никогда не читал и в глаза не видел.

Лишь единственный раз он проговорился, когда в июньские дни 1957 года встал вопрос о переводе Хрущева с руководящих постов в партии и в правительстве на более скромную роль, посильную для него. В горячих выступлениях на Президиуме ЦК подавляющее большинство его членов указывало на необузданность и невоспитанность Хрущева, на то, что он единолично принимает безграмотные решения, за которые партии и стране приходится расплачиваться дорогой ценой и т. д.

Поначалу Хрущев еще не знал, каким будет дальнейший ход событий. И в своем первом выступлении он, в ответ на критику, с повинной миной заявил:

— Товарищи, я прошу учесть, что я никогда нигде не учился.

Но потом Хрущев снова вошел в свою роль и, ничтоже сумняшеся, давал безапелляционные указания по вопросам начальной и средней школы, высшего образования, науки, литературы, искусства.

* * *

И еще одно замечание к биографии Н. Хрущева. При всем своем многословии он никогда не рассказывал, где, когда, при каких обстоятельствах он вступил в Коммунистическую партию и в чем состояла его политическая работа в начальный период Советской власти. В упомянутой выше книге «Рассказ о почетном шахтере» Хрущев и его услужливые биографы утверждают, что, когда 14-летний Никита прибыл в Донбасс, он пас коров и овец у помещика Кирша. Но вскоре стал учеником слесаря и на тайном собрании молодежи договорился предъявить управляющему Вагнеру ультиматум о зарплате. Вагнер капитулировал. Вслед за этим вместе со своими юными друзьями, поиграв на гармонике и напоив урядника водкой, он водрузил на мельничной трубе красный флаг, совсем как молодогвардейцы Фадеева. Урядник, протрезвев, сначала умолял всех жителей за 5 рублей сорвать крамольный флаг. Но когда этот номер ему не удался, он вызвал из Юзовки эскадрон казаков, и те начали сбивать флаг пулями. Вскоре пристав Красноженов почувствовал грозную опасность, которую представлял Никита для престола, и потребовал от него, чтобы он покинул завод и весь его, пристава, подопечный район.

Эти описания взяты не из рассказов барона Мюнхгаузена и не из опереточного либретто, а с 13–21 страниц упомянутой биографии.

И вот уже «поднадзорный» пастух овец Никита уже стоит у клети шахты и произносит пламенные речи:

«Капиталисты германские, австро-венгерские, английские, французские, русские и другие не поделили между собой награбленного у народа добра и затеяли войну».

А дальше идет такая абракадабра вымыслов, что уму непостижимо.

Хрущев надолго исчезает куда-то. (По его рассказу он был где-то в Курской губернии.) Когда и где он вступил в Коммунистическую партию — старательно замалчивается, и

трудно сказать, по какой причине. В Большой Советской Энциклопедии указывается, что Хрущев — член партии с 1918 года, без указания более определенной даты и места вступления в партию. Биографическое же повествование возобновляется на том, что Хрущев «по партийной мобилизации направляется на фронт, в распоряжение политотдела одной (?!) из стрелковых дивизий» (стр. 45–46).

Дальше туманно говорится о «молодом двадцатипятилетнем комиссаре», без указания: комиссаре чего? О том, что он, как положено комиссару, прошел тысячекилометровый путь к Черноморскому побережью.

Дальше — больше. Из той же биографической книжки мы узнаем, что «именно он, Хрущев, был одним из тех, под чьим руководством Красная Армия сорвала черный замысел американских, английских и французских империалистов, пытавшихся с помощью флота Антанты спасти от полного разгрома армию Деникина».

И далее:

«…у черноморских берегов закончился в гражданской войне боевой путь комиссара Н. С. Хрущева — одного из активных создателей Красной Армии и организаторов победы молодой республики Советов над иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией».

Вот, оказывается, какую всемирно-историческую роль сыграл в гражданскую войну Никита Хрущев, скромно укрывшись под личиной комиссара батальона.

Я ни в малейшей степени не ставлю перед собой задачу дать биографию Н. Хрущева. Это сделают будущие историки, когда станут доступными необходимые для такой работы материалы. Я отмечаю лишь отдельные факты, наблюдения, живые впечатления, касающиеся Хрущева, оставившие отпечатки в моей памяти или при личном общении с ним, или из рассказов третьих лиц.

* * *

Как-то один из старейших деятелей Коммунистической партии, член ее с 1897 года, бывший депутат и председатель большевистской фракции 4-й Государственной Думы, председатель ЦИК СССР и зам. Председателя Верховного Совета СССР Григорий Иванович Петровский передавал мне через третье лицо:

— Вы не знаете, что такое Хрущев. А я знаю. Я это и на себе

испытал. В январе 1938 года Хрущев прибыл к нам на Украину Первым секретарем ЦК. Развенчал Ленина. Утвердил культ Сталина. Меня объявил «врагом народа». И началось…

Без ведома и прямой санкции Хрущева не решались никакие персональные вопросы опустошительных чисток 1937–1938 и последующих лет по Москве и Украине. Таким путем тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей были ввергнуты в пучину невероятных страданий, нашли свою мученическую смерть с клеветническим клеймом «врага народа».

И, может быть, самое примечательное и отталкивающее в этой стороне деятельности Хрущева состояло в том, что многих из отправленных им на эшафот он затем с непревзойденным лицемерием оплакивал с высоких партийных и правительственных трибун. Причем в этих стенаниях виновниками гибели прославленных коммунистов выставлялся, конечно, прежде всего Сталин и другие его соратники, но не он, Хрущев.

А решающим в его карьере было искусство постоянного поддержания доверия и расположения того же Сталина. В течение многих лет сталинского руководства непременными атрибутами любой публичной речи, статьи или книги были здравицы в честь Сталина. Мы все должны были подчиняться этому неписаному, но железному закону. И подчинялись, но Хрущев поднялся в этом искусстве извержения елея до недосягаемых вершин.

Но многие годы заискивания, лавирования, подобострастия, вечного страха допустить какую-нибудь случайную осечку и погибнуть, годы интриг, подсиживания, устранения с пути конкурентов — все это позади. Сталина больше нет. Теперь — рукой подать до вершины. Нужно лишь взять последние препятствия, убрать или уничтожить последних конкурентов…

Устранение Берии

Как безденежный картежник, одержимый страстью обогащения, пытливо всматривается в лица постоянных игроков, изучает их повадки, прикидывает, как он выведет из игры второстепенных противников, а затем, играя ва-банк, нанесет решающий удар самому опасному партнеру — так терпеливо готовил свою игру ва-банк Никита Хрущев. Фаворит И. Сталина, почитатель В. Молотова, выдвиженец Л. Кагановича, соратник Н. Булганина, друг Г. Маленкова и Л. Берии, Хрущев своими маленькими подпухшими свиными глазками осторожно и подозрительно осматривал поле действий: что же получилось после смерти Сталина? Какова расстановка сил? Кто партнеры? Кто опасен? Кто не опасен? Будущие историки и психологи с изумлением будут искать ответ на вопрос: откуда у малограмотного человека, глубоко захолустного по манерам и мышлению, оказалось столько тонкой изворотливости, двурушничества, иезуитства, вероломства, лицемерия, аморализма в достижении своих целей?

Упоминалось уже, что, по всенародному и всепартийному мнению, единственным достойным преемником И. Сталина был В. Молотов. Но Молотов сам не проявлял ни малейших намерений встать у руля государственного корабля. С непревзойденной дисциплинированностью и воспитанностью он ждал, как решится вопрос о его роли, статусе «коллективным разумом» — в Президиуме ЦК. Это облегчило задачу Хрущева. И еще у смертного одра Сталина он, заручившись поддержкой Булганина — Маленкова — Берии, выводит Молотова фактически на вторую линию руководства.

Внешне на капитанском мостике стоял Георгий Маленков. Как уже говорилось, он по поручению Сталина делал Политический отчет ЦК на XIX съезде партии. А мартовская сессия Верховного Совета СССР 1953 года избрала его главой правительства — Председателем Совета Министров СССР.

Маленков затеял коренную реконструкцию кремлевских апартаментов Сталина. Он только начал входить в свою роль главы правительства в общении с дипломатическим корпусом. Но Хрущев очень весомо давал понять молодому преемнику Сталина всю призрачность его положения и что он может удержаться на своем посту лишь соблюдая достаточную покорность. Огромный волкодав в игре с ласковым пуделем то снисходительно потреплет тяжелой лапой по голове, то пощекочет носом по брюху, то вдруг оскалит клыки и зловеще зарычит: ни-ни, не

балуй… Незлобивому и мягкосердечному пуделю кажется в таких случаях благоразумным ласково лизнуть покровителя в нос и постараться вернуть его благорасположение.

Принюхиваясь ко всем и вся, Хрущев с самого начала хорошо понял, что покладистый Маленков — это не главное препятствие на его пути к вершине власти. Маленков вел себя в отношении Хрущева с поражающим тактом и доброжелательством. Он прощал ему нередкие насмешки и иронические побасенки в свой адрес. Он старался вместе с ним пообедать. Он подгадывал окончание работы так, чтобы в одной машине поехать домой со службы или с частых в то время приемов. Хрущев и Маленков даже поселились рядом, в соседних домах на Остоженке, и пробили в разделяющей их особняки стене калитку.

Когда требовали того условия затеянной игры или Хрущеву нужно было особое благорасположение Маленкова для проведения какой-нибудь операции, он милостиво принимал знаки внимания Маленкова. Но как только надобность в этом отпадала, он недвусмысленно давал понять, что в конце концов все зависит от него, Хрущева, и добивался принятия еще какой-нибудь меры, оттесняющей Маленкова на второй план.

Так, уже 14 марта 1953 года Пленум ЦК по предложению Хрущева освободил Г. Маленкова от обязанностей Секретаря ЦК КПСС. Прошло немного времени, и Хрущев поставил на Президиуме вопрос об отказе от установившейся со времени Ленина традиции, в силу которой на заседании Президиума (Политбюро) ЦК председательствует не Генеральный секретарь ЦК, а Председатель Совета Министров (Народных Комиссаров).

На этом заседании Хрущев вел себя раздраженно. Правая ноздря у него подергивалась, угол рта отходил к уху, лицо приобретало злобное, бульдожье выражение.

— Почему это Маленков должен председательствовать на Президиуме? Почему это я, и все мы, должны подчиняться Маленкову? У нас коллективное руководство. У нас должно быть разделение функций. У меня свои обязанности, у Георгия — свои. Ну и пусть занимается своим делом…

Вопрос этот Хрущевым обговорен был с основными членами Президиума и решен без обсуждения и возражений. Прошло еще немного времени, и именно покладистому Маленкову поручено было Хрущевым внести на Пленуме ЦК предложение об избрании Никиты Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Таким образом, ловкими шахматными ходами Хрущева твердая договоренность у гроба Сталина никогда больше не допускать гипертрофии роли одного из секретарей ЦК и об упразднении вообще поста Генерального (Первого) секретаря была опрокинута.

Вскоре Хрущев потребует снятия Г. Маленкова с поста Председателя Совета Министров, что и будет сделано.

* * *

Однако не Маленков был главным препятствием на пути Хрущева. Г. Маленков по своим морально-этическим и волевым качествам не мог, да и не хотел противостоять Хрущеву. В. Молотов и К. Ворошилов, А. Микоян и Л. Каганович, Н. Булганин, Г. Маленков, Г. Первухин и другие руководители — все они были очень различны по своей эрудиции, по своему политическому и хозяйственному опыту, по своему, моральному облику. Но все они были, если можно так выразиться, представителями «старой школы». Все были безгранично преданы марксистско-ленинскому учению, искренне верили в величие и непогрешимость Сталина, превыше всего ставили интересы партии и так же искренне теперь хотели перейти к коллективному руководству «по старинке», в соответствии с программно-уставными требованиями; они верили, что теперь коренные вопросы жизни партии и страны можно свободно обсуждать и решать в Президиуме, в Совете Министров, на Пленумах ЦК на основе воли большинства. Никто из них и не помышлял о единоличной власти, не рвался к ней.

Но были в составе руководящего ядра два человека, которые смотрели на вещи гораздо более практично, без всякой романтики и сентиментальности. Это были Никита Хрущев и Лаврентий Берия. Оба жаждали власти. Оба хорошо понимали, что после смерти Сталина механизм единоличной власти не был сломан и сдан в музей древностей. Он сохранился полностью, и нужно лишь было овладеть им и снова пустить в ход.

Как два хищника, они всматривались друг в друга, принюхивались друг к другу, обхаживали друг друга, пытаясь разгадать, не совершит ли другой свой победоносный прыжок первым, чтобы смять противника и перегрызть ему горло.

Хрущев хорошо понимал, что среди всего руководящего ядра партии Л. Берия — единственный серьезный противник и единственное серьезное препятствие на пути его вожделений. К тому же этот противник — опасный. В его руках все дело охраны Кремля и правительства; все виды правительственной и другой связи; войска МВД и пограничной охраны. Малейший просчет с его, Хрущева, стороны — и голова его будет снесена.

Вот почему, когда Хрущев, пока в глубокой тайне, наедине с самим собой, решил уничтожить Берию, он взял курс на

сближение с ним. Все вдруг оказались свидетелями неразрывной дружбы Хрущева и Берии.

Лаврентий Берия упивался своим новым положением. В его руках необъятная власть. Он все может. Ему все доступно. А над ним по существу никого нет, никакого реального контроля.

Сталина нет. Какое счастье! Жить, теперь жить по-настоящему, никого не боясь. Надо все знать. Обо всех. Всю подноготную. И всех держать «за жабры». Надо обличить Сталина, развенчать его, истребить память о нем. Пусть все знают, что Берия — не тиран, а демократ. И Берия, который многие годы был одним из главных источников произвола и беззаконий в стране, решил надеть на себя тогу поборника законности и свободы личности. Пусть все знают, что Берия против незаконных арестов, против жестокой карательной политики, за замену практики широких репрессий воспитательной работой. Этим он сразу отмежуется от злодеяний прошлого и предстанет перед всем народом как избавитель от произвола и как страж социалистического правопорядка.

Этим целям должна была послужить прежде всего амнистия.

27 марта 1953 года был опубликован разработанный Берией Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии». Такой широкой амнистии советское правосудие не осуществляло никогда. По этому Указу освобождались из мест заключения и от других мер наказания все преступники, осужденные на срок до пяти лет включительно, все осужденные за должностные и хозяйственные, а также почти все воинские преступления, независимо от срока наказания, все мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет. Всем осужденным на срок свыше пяти лет сроки наказания сокращались наполовину. Все следственные дела и дела, не рассмотренные судом указанных выше категорий, прекращались.

Практически в местах заключения оставлена была лишь небольшая группа осужденных за наиболее тяжкие контрреволюционные преступления, за крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленное убийство. Вся остальная масса преступников освобождалась, с них снималась судимость и поражение в избирательных правах. То есть в лагерях оставались именно осужденные по политическим статьям, хотя им были сокращены наполовину сроки наказания, за исключением освобожденных старше 55 и 50 лет.

Первая реакция на амнистию среди населения была положительной. Но вот в города, рабочие поселки, в колхозы и совхозы, на курорты, вокзалы и пристани хлынула масса освобожденных. Среди них: воры-рецидивисты, злостные

хулиганы, поножовщики с многократными судимостями; преступники, осужденные за изнасилование, тяжкие телесные повреждения; мошенники, растратчики, взяточники и другие уголовники.

Резко выросло число убийств, массовых краж, грабежей, тяжелых форм хулиганства. Многие населенные пункты оказались буквально терроризированными. Люди боялись выходить в кино и театры. С наступлением темноты ставни запирались на тяжелые засовы, и жители с тревогой и страхом ждали наступления рассвета. Мутные потоки уголовщины докатились до Свердловска, Тбилиси, Баку, Киева, Ленинграда. Наконец, они прорвались и в столицу.

Настроения тревоги все нарастали. Поползли зловещие слухи, что Берия распустил всю уголовщину умышленно, что он готовит уголовную гвардию для своих особых целей…

* * *

Но тут произошло одно событие, которое вызвало у всей интеллигенции и в широких слоях народа вздох облегчения. 3 апреля 1953 года меня и редакторов других важнейших центральных газет вызвали в ЦК партии. Здесь нам было сказано, что тщательной проверкой, проведенной под руководством МВД СССР, была установлена лживость всех обвинений, на которых построено было так называемое «Дело врачей». Это относилось и к одному из главных обвинителей по этому делу — врачу Кремлевской больницы Лидии Тимошук. Она явилась разоблачителем выдающихся профессоров «кремлевки», которые якобы умышленно ставили больным руководителям партии и правительства неправильные диагнозы, назначали неправильное лечение и тем самым умерщвляли их. «За помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц» Лидия Тимошук 21 января 1953 г. награждена была орденом Ленина.

Теперь же было заявлено, что Лидия Тимошук являлась секретным агентом органов государственной безопасности и писала свои доносы и разоблачения в соответствии с теми заданиями, которые разрабатывались и давались ей органами МГБ. Затем на этих доносах базировалось обвинение.

4 апреля в печати было опубликовано сообщение МВД СССР о прекращении «Дела врачей», как основанного на лживых обвинениях, и о полной реабилитации всех привлеченных по этому делу лиц. Здесь нет возможности описать, каким мукам подверглись за месяцы заточения выдающиеся советские врачи,

большинство из которых к этому времени переступило через свое шестидесятилетие.

Отменен был и Указ Президиума. Верховного Совета о награждении лжесвидетельницы Тимошук орденом Ленина.

Прекращение «Дела врачей» воспринималось всем обществом как конец или, во всяком случае, начало конца тем вопиющим беззакониям и произволу, в условиях которого мы жили не одно десятилетие.

Лаврентий Берия, который был главным постановщиком инсценировок «заговоров», «покушений», «шпионских дел», выступал теперь в роли блюстителя законности и правопорядка. Ради собственного реноме он запрятал в Лефортовский изолятор даже некоторых своих сообщников.

Положение Берии могло укрепиться быстро и необратимо. Вот почему Хрущев решил, что нужно действовать безотлагательно. Промедление смерти подобно.

Самое сложное и тонкое в подготовке было: как заручиться согласием и активным участием в операции по устранению Берии членов Президиума: всех или не всех посвящать в это дело? Если не всех, то кого посвящать? С кого начать? В каком порядке, кому и с кем говорить дальше? Кому и как поручить техническую сторону операции? Все части механизма заговора должны были сработать безотказно. Малейшая осечка могла привести к катастрофе: ради сохранения своего положения на вершине пирамиды власти Берия пошел бы на все.

Позже, вспоминая прошлое, я спросил как-то у Н. Хрущева: все ли были единодушны в необходимости устранения Берии? Все ли прошло в этом плане гладко?

Он ответил:

— Ну, как вам сказать… Вячеслав (Молотов) сразу, с полуслова, понял все и определил свою позицию. Когда я намекнул ему, что, мол, вы видите, как ведет себя Берия, и что возникает вопрос, не устранить ли нам его с того поста, который он занимает, пока положение не приняло опасный характер, Молотов посмотрел на меня очень понимающе и задал только один вопрос: как, только устранить? После такого вопроса все было ясно, и разговор пошел в открытую. Н. Булганина уговаривать не пришлось. Он все понимал как положено.

Самым сложным казался на первых порах вопрос о Маленкове. Все знали о закадычной дружбе его с Берией: они всюду вместе приходили, вместе сидели во всех президиумах, вместе уходили, ну, словом, водой не разольешь. Как тут подступиться? Ведь все можно погубить и самому себе петлю на шею надеть.

Но я видел, что и Егору (Маленкову) не по себе. Он ведь тоже, как и все мы, понимал, что Берия торопится занять место Сталина и что в его руках такие средства, что он может с любым из нас сделать все, что угодно. После первых же нескольких заседаний Президиума было ясно, куда Берия гнет. Положение Маленкова было сложным. Как председатель на заседаниях Президиума он пробовал буферить, но из этого ничего не получалось. Вы же помните: что ни заседание, кто бы ни вносил какой вопрос, Берия — свой контрпроект. А выступить против — черт его знает, чем это будет пахнуть.

Наконец, вижу, Егор сам начал меня прощупывать. Один раз, другой осторожно сказанул мне, что Лаврентий «все осложняет». Постепенно я увидел, что Егора допекло, и рискнул на разговор. Ну, и нужно сказать, что держался он во всей операции очень твердо.

— Значит, единодушно действовали? — спросил я Хрущева.

Фыркнув очень характерным для него «пф», Хрущев сказал:

— Анастас (Микоян), как всегда, был обтекаем, и трудно было его понять. Он соглашался с тем, что поведение Берии неподходящее, но заявлял: он же не потерянный человек…

* * *

Из этой беседы с Хрущевым я так и не вынес твердого убеждения, был ли Микоян хоть частично посвящен в предстоящую операцию. Или, прощупав его и не будучи уверенными в нем, его так и не посвящали в заговор, и он узнал о состоявшейся конкретной договоренности по делу Берии только на самом заседании, решившем судьбу палача, причем и здесь он выступил со своим особым мнением: «Он же не потерянный человек». Любопытно, что через одиннадцать лет от Микояна пришлось скрыть и всю операцию со снятием Хрущева. А на заседании Президиума, решившем вопрос об отстранении Хрущева, он повторил ту же формулу: «Он же не потерянный человек»…

Всем посвященным в дело было ясно, что отстранить Берию демократическим путем было невозможно, его сообщники привели бы в действие всю идеально отлаженную за эти годы машину службы государственной безопасности. Отстранить Берию от занимаемых им постов можно было только путем внезапного ареста и заключения под стражу его и его главных сообщников по МГБ, с тем, чтобы все последующие должностные и судебные процедуры осуществлялись в условиях его строгой

изоляции.

Кому же поручить проведение такой сложной и конспиративной операции над Берией? При сложившихся условиях в стране оставалась единственная реальная сила, которая могла ее осуществить, — армия, ее высший генералитет. Из состава последнего и была отобрана группа наиболее доверенных лиц, которые ни при каких условиях не сдрейфили бы. В числе других в эту группу входили: маршал Жуков, командующий артиллерией Советской Армии главный маршал артиллерии М. И. Неделин, командующий Московским военным округом маршал Советского Союза К. С. Москаленко; назначенный вскоре командующим войсками Московского округа ПВО генерал армии П. Ф. Батицкий и некоторые другие.

Перед ними и поставлена была задача в назначенный день, час и в назначенном месте арестовать Л. Берию и надежно изолировать его затем на время следствия и судебного разбирательства.

Накануне условленного дня члены Президиума ЦК заседали. На следующий день назначено было заседание Президиума Совета Министров, в который входили Председатель Совета Министров СССР и его первые заместители, т. е. те же члены Президиума ЦК: Берия, Молотов, Булганин и Каганович.

Последующий ход событий Н. Хрущев не раз живо рассказывал нам по разным поводам.

— После заседания поехали по домам, на дачи на одной машине втроем: я, Берия и Маленков. Дорогой шутили, смеялись, рассказывали анекдоты. Я хотел всем нашим видом и поведением показать, что все — в полном порядке. Все-таки где-то в душе копошилось сомнение: не пронюхал ли он, подлец, что-нибудь о нашей подготовке. Тогда — хана. Он упредит нас и передушит всех, как цыплят. Все последние дни я уж так ухаживал за ним, так в любви ему объяснялся, что дальше некуда. И в этот вечер нежности продолжались. Видно, он ни о чем не догадывался.

Сначала завезли домой Егора. А я решил доставить Берию прямо до порога, чтобы душа была спокойна, что он прибыл домой и до утра останется там, а утром — все свершится. Выйдя из машины, мы еще долго гуляли, и я горячо говорил ему, какие он большие и толковые вопросы после смерти Сталина сумел поставить…

— Подожди, Никита, — отвечал явно польщенный Берия, — это только начало. Все решим. Кто нам теперь помешает? И сами жить будем по-другому. Работать будем по-другому. Вот я уже предлагал вам, а вы все ежитесь, канитель разводите. Давайте я своими строительным организациями каждому члену Президиума

построю по особняку: один в Москве, или под Москвой, как хочешь, другой — на Кавказе, на Черном море: хочешь — Крым, хочешь — Пицунда, где хочешь, такие особняки, пальчики оближешь, — Берия тут вкусно причмокнул губами. — И вручить каждому члену Президиума особняки от имени правительства в собственность: пускай живут. Пускай дети живут. Пускай внуки живут. Что, мы не заработали себе таких пустяков?

— Верно, верно, Лаврентий, надо подумать об этом. Дело неплохое. Давай на днях обсудим это.

— Ну, будь здоров, дорогой. Давай поспим малость. Завтра ведь дела текущие. Отзаседаем, а там давай вместе пообедаем…

— Я, — заключал Хрущев, — долго и горячо тряс его руку. А сам думал: ладно, сволочь, последний раз я пожимаю твою руку… И на всякий случай завтра надо все-таки в карман пистолетик положить. Черт его знает, что может быть…

* * *

Все обошлось благополучно и было сработано по плану. Собрались в Кремле в назначенный час. Повестка дня была объявлена заранее. Председательствовал Маленков.

По рассказам Хрущева, «Егор был бледнее обычного, и под глазами у него были коричневые мешки; видно, провел тяжелую ночь. Но держался он уверенно и спокойно».

Как только закрылась дверь за последним из членов Президиума, обязанным быть на заседании, в соседней комнате собрались вооруженные маршалы, готовые к выполнению задания.

Маленков:

— Прежде чем приступить к повестке дня, есть предложение обсудить вопрос о товарище Берии.

Берия передернулся так, как будто его ударили по лицу:

— Какой вопрос? Какой вопрос? Ты что несешь?!

Но в действие вступила тщательно разработанная процедура. Лаврентию Берии сказано было в лицо жестко и гневно все, что нужно было сказать, и прежде всего главное: что он метит в новые диктаторы, что он поставил органы государственной безопасности над партией и правительством, что он замыслил и разыгрывает свои собственные планы.

В первые минуты Берия был ошарашен. Конвульсивно подергиваясь, он переводил расширенные холодные рыбьи глаза с одного члена Президиума на другого: что это такое? Подкоп под него? Сговор? Да ему стоит сказать только, одно слово, и любой

из них будет раздавлен как букашка. Он дико озирался вокруг, словно искал какую-то заветную кнопку, которую достаточно будет нажать, или обычный телефон, в который следовало только отдать короткое приказание, чтобы вся его чудовищная истребительная машина пришла в движение. Он так хорошо знал все тайны этой машины.

Но с каждым мгновением он не столько понимал разумом, сколько ощущал всем холодеющим нутром, что это — не недоразумение. Не проработка. Это что-то страшное и неотвратимое. А когда было сказано, что он арестован и будет предан следствию и суду, зелено-коричневая краска поползла по его лицу — от подбородка к вискам и на лоб.

В зал заседаний вошли вооруженные маршалы. Они эскортировали его до машины.

Заранее было условлено, что помещение Берии во внутреннюю тюрьму на Лубянке или в Лефортовский изолятор исключалось: здесь были возможны роковые неожиданности. Решено было содержать его в специальном арестантском помещении Московского военного округа и под воинской охраной. Туда и был доставлен этот государственный преступник. Дни и ночи специальная охрана из отобранных офицеров под наблюдением маршала Батицкого несла здесь конвойную службу.

В тот же день изолированы и обезврежены были ближайшие сподвижники Берии по МВД…

Сразу после ареста Берии и его сообщников в МВД СССР был послан Секретарь ЦК КПСС Н. Н. Шаталин, чтобы без промедления взять все в свои руки, предотвратить возможность любых неожиданностей со стороны окопавшихся там бериевцев и приступить к превращению Министерства в орган, отвечающий требованиям ленинской партийности и истинным моральным нормам страны социализма. Шаталин был давним соратником Маленкова по аппарату ЦК. Много лет занимался в нем кадровыми вопросами. Сразу после смерти Сталина на мартовском Пленуме был переведен из кандидатов в члены ЦК и избран в состав Секретариата. Теперь его послали на горячий период в органы государственной безопасности.

Само собой разумеется, что Берия не допускал и мысли, что чей-то посторонний взгляд когда-либо может заглянуть в его сокровенные личные сейфы в Кремле, на Лубянке и дома. С ключами от них он никогда не расставался. И вот эти сейфы вскрыты. Здесь и материалы слежки за членами Президиума, подслушивания их разговоров, заготовки возможных будущих доносов и дел, которые могли быть сварганены против любого руководящего деятеля партии и правительства, огромные списки,

адреса и телефоны девушек и женщин, на которых остановился похотливый взгляд этого морально растленного карателя, платочки, чулочки, безделушки, которыми он расплачивался с некоторыми партнершами, разделявшими услады этого селадона в министерском обличье.

* * *

2 июля 1953 года в Свердловском зале Кремля открылся Пленум Центрального Комитета. Доклад Президиума ЦК по делу Берии сделал Маленков. Пленум продолжался шесть дней и проходил очень горячо.

Выступавшие на Пленуме члены ЦК ратовали за то, чтобы изменить в корне сложившееся за многие годы совершенно нетерпимое положение с органами государственной безопасности, которые фактически давно вышли из-под коллективного контроля партии и встали над государством и партией. Пленум единодушно признал виновным Л. Берию в преступных антипартийных и антигосударственных действиях, направленных на подрыв Советского государства, виновным в вероломных попытках поставить МВД СССР над правительством и КПСС. Пленум принял решение — вывести Л. П. Берию из состава ЦК и исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза, как врага партии и советского народа.

Новым министром внутренних дел был назначен С. Н. Круглов.

Июльский Пленум ЦК обязал все партийные организации взять под неослабный и систематический контроль всю деятельность органов МВД в центре и на местах. Пленум признал необходимым серьезно укрепить органы МВД партийными работниками, значительно усилить партийно-политическую работу среди чекистов.

Н. Хрущев рассказывал позже:

— Как-то в присутствии Берии зашел у нас разговор о безопасности и авторитете руководителей. Берия сказал в этой связи: «Если бы меня посмел кто-нибудь тронуть, то немедленно вспыхнуло бы восстание в войсках и весь народ поднялся бы…»

Но… Берия сидел в каземате Московского военного округа. Охраняли его военные. Никакого восстания не вспыхнуло, а в народе было всеобщее ликование.

23 декабря 1953 года Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР под председательством маршала И. С. Конева признало виновным в государственных

преступлениях Л. П. Берию и его сообщников: бывшего министра Государственной безопасности СССР В. Н. Меркулова, бывшего начальника одного из управлений МВД СССР, а затем министра внутренних дел Грузинской ССР В. Г. Деканозова, бывшего заместителя министра внутренних дел СССР Б.З. Кобулова, бывшего начальника одного из управлений МВД СССР С. А. Гоглидзе, бывшего министра внутренних дел УССР П. Я. Мешика и бывшего начальника следственной части по особо важным делам МВД СССР Л. Е. Владимирского. Все они приговором Верховного Суда осуждены были к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией лично им принадлежавшего имущества, с лишением воинских званий и наград.

В тот же день приговор был приведен в исполнение.

С казнью Берии Хрущев убрал со своего пути единственного конкурента, который с такой же жаждой, как и он сам, рвался облачиться в диктаторские доспехи.

Теперь, после устранения Берии и проведения ряда организационных мер, в руках Хрущева оказались все важнейшие рычаги партийного руководства и государственного управления.

Хрущев у кормила власти

Будущие историки приложат немало усилий, чтобы ответить на сложные вопросы и объяснить многие социальные парадоксы.

Как могло случиться, что Хрущев оказался у кормила власти? Как оценить его реформаторскую деятельность? В чем состоял положительный вклад Хрущева в общественную и государственную жизнь страны? И был ли такой вклад?

Почему на протяжении целого десятилетия Хрущев мог порой беспрепятственно выдвигать самые невероятные и фантастические прожекты, за осуществление которых народ расплачивался такой дорогой ценой? Как советский государственный и общественный строй мог выдержать такое попрание экономических законов?

Для того чтобы понять ход и существо событий в «хрущевское десятилетие», надо иметь в виду действие и противодействие, по крайней мере, следующих закономерностей, сил, факторов, традиций:

Ко времени выхода Хрущева на большую арену общественной жизни (1953 г.) Советский Союз превратился в могучую мировую индустриально-аграрную державу. Всем ходом исторического развития доказаны были неоспоримые превосходства социалистической системы над капиталистической.

К 1953 г. национальный доход в сопоставимых ценах к уровню 1913 г. составлял: в СССР — 1367 процентов, в США — 295 процентов, в Англии — 171 процент, во Франции — 145 процентов.

В области промышленности Советский Союз двигался вперед стремительными темпами: за 11 довоенных лет (1930–1940) и 11 послевоенных лет (1947–1957), т. е. за 22 года (до начала ломки всего аппарата управления промышленностью по проектам Хрущева) среднегодовой темп прироста промышленной продукции в СССР составил 16,2 процента, в США за те же годы — 2,9 процента, в Англии — 3,3 процента, во Франции 2,6 процента. По своей промышленной мощи СССР в исторически кратчайшие сроки передвинулся с пятого (в 1913 г.) на второе место в мире и с четвертого на первое место в Европе. Эти преимущества Страны Советов делали научно обоснованной убежденность коммунистической партии, всех нас, что СССР решит основную экономическую задачу и по своей экономической мощи выйдет на первое место в мире.

Вместо океана раздробленных, частнособственнических отсталых крестьянских хозяйств создан был невиданный в

истории строй самого крупного в мире механизированного сельского хозяйства: 4857 совхозов, 9000 машинно-тракторных станций и 93300 колхозов. Возрастала валовая и товарная стоимость продукции сельского хозяйства. Село в корне меняло свой облик, становилось все более благоустроенным и культурным.

Конечно, и в промышленности и особенно в сельском хозяйстве было много больших нерешенных задач. А именно — недостаточно использовались такие могучие стимулы роста общественного производства, как материальная заинтересованность каждого предприятия и каждого работника. Недостаточно использовались такие категории и инструменты умножения общественного богатства, связанные с действием закона стоимости, как хозрасчет, рентабельность, цена, прибыль и т. д. Отсюда — серьезное отставание СССР по производительности труда по сравнению с самыми развитыми капиталистическими странами, нехватка товаров народного потребления, низкое качество многих товаров и т. д.

Но при всех этих недостатках за треть века сложилась могучая социалистическая система народного хозяйства, базирующаяся на общественной собственности на средства производства. В отличие от стихийного характера капиталистического хозяйства экономика советской страны подчинялась действию законов планомерного, пропорционального развития народного хозяйства, законов расширенного социалистического воспроизводства.

* * *

Все это ставило известные границы хрущевскому огульному шельмованию всего прошлого и предъявляло определенные требования к «реформаторской деятельности» Хрущева: для своего общественного признания она должна была, во всяком случае, дать не меньшие и не худшие плоды, чем реформаторская деятельность Сталина: ты недоволен, ты гневаешься, ты клеймишь прошлое, ты втаптываешь в грязь Сталина — ну, что ж, покажи, на что ты сам способен.

И показать это нужно было не на словах, а на деле. Векселя рано или поздно нужно оплачивать…

Почти до XX съезда партии по части критики прошлого и руководящих лиц, связанных с этим прошлым, Хрущев вел себя в общем сдержанно. Он закреплял свое новое положение и для закрепления его хотел многим нравиться. Он был

доброжелателен ко всем членам руководящего ядра на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК. Не допускал никаких резкостей и личных выпадов, предоставлял каждому широкую инициативу в своей сфере:

— Смотрите сами. Решайте сами. Вы лучше меня знаете это дело. Не мне вас учить…

Такой тон и такие возможности в работе очень всем импонировали. Ведь у всех еще в памяти живы были сталинские нравы. Во всех кремлевских кругах, близких к Сталину, всегда царила атмосфера напряженности, тревожного ожидания и леденящего душу страха.

С водворением саркофага Сталина в Мавзолей все почувствовали коренное изменение атмосферы. Дальнейшим шагом в этом направлении был арест Берии.

Все говорили:

— Как стало легко… Как хорошо…

И Хрущев не пропускал случая подчеркнуть это. О значении ареста Берии и о своей роли в этой операции он рассказывал неустанно.

Чтобы подчеркнуть свою простоту, доступность, свое чувство коллегиальности, Хрущев ввел ежедневные совместные обеды для всех желающих членов Президиума ЦК и кандидатов в одном из уединенных залов Кремля. Так как мало-помалу во время этих обедов стали обсуждаться на ходу разные дела, вскоре почти все руководители стали их участниками. По окончании заседаний или приемов Хрущев сажал в свою машину несколько человек своих попутчиков.

Я уже писал, что сразу после смерти Сталина он поселился рядом с Маленковым в смежных особняках в районе Метростроевской улицы (Остоженки), а в кирпичном заборе, отделявшем оба особняка, пробита была калитка для постоянного общения. Но вскоре такое отъединение двух от всех остальных показалось Хрущеву неподходящей формой коллективизма. Он распорядился построить каждому члену Президиума по особняку — точно так, как предлагал в свое время Берия. И скоро на живописных и любимых москвичами Ленинских (Воробьевых) горах появилась анфилада роскошных особняков. Внутри они были отделаны мрамором и дорогими сортами дерева. От внешнего мира каждый особняк был отделен массивными высокими стенами, видимо, из желтого туфа. Доступ в каждый особняк пролегал через тяжелые стальные ворота и калиточку. Из двора и садовой беседки хрущевского обиталища, стоявшего на самой бровке Ленинских гор, открывался неповторимый вид на Москву. Она видна была вся как на ладони.

Жилищный кризис в Москве в эту пору ощущался с исключительной остротой. Одна из странностей одержимого индустриализацией Сталина — явное пренебрежение к жилищному строительству, хотя каждому ясно, что без должного расширения жилищного фонда нельзя обеспечить неуклонный подъем промышленности высокими темпами. Миллионы москвичей жили скученно в перенаселенных коммунальных квартирах, в старых деревянных домишках без коммунальных удобств и даже в бараках и подвалах.

Поэтому старые члены Политбюро (Молотов, Ворошилов, Каганович), давно жившие в Кремле, поеживались от такого новшества и не очень-то рвались на Ленинские горы под всесветное обозрение. Но «коллективизм» обязывал не обособляться. И скоро все члены Политбюро обосновались в сверкающих особняках.

Рядом с ними воздвигнуто было роскошное спортивное здание с бассейном и другими сооружениями, где можно было холить свое тело с не меньшим комфортом, чем это было у римских императоров.

Народ, знавший по изустным преданиям, описаниям и кино спартанскую суровость образа жизни Ленина, сразу окрестил новое поселение ироническим прозвищем «Заветы Ильича» и «хрущобами».

* * *

Нельзя не сказать о застольях Хрущева. Они с размахом проводились не только на его даче, но даже когда он выезжал за границу.

В 1954 году в Китай отбыла правительственная делегация СССР, в которую входил и я. В ходе нашего визита мы посетили Пекин и другие китайские города, в том числе Шанхай.

Шанхайский горком партии устроил в честь нашей делегации торжественный ужин. Присутствовали городские власти и кое-кто из высшей интеллигенции. Хрущев много ел. Много пил. Как обычно, рассказывал анекдоты про Микояна. В разной связи упоминал, что в детстве он «пас скотину», а потом «работал шахтером».

В Пекине у нас была особая резиденция и своя, независимая от китайцев, кухня. Все готовилось своими поварами из продуктов, доставлявшихся самолетами из Москвы. Хрущев был большим гурманом с расейским размахом.

Известно, насколько строг к себе и неприхотлив в еде был

Ленин и его семья. Эту сторону быта Ленина наглядно отображает его квартира в Кремле. Друзья и соратники Ленина рассказывают, что даже после перехода к нэпу, когда голодные времена в стране миновали, суп и скромное второе на обед, чай с повидлом и бутерброд на ужин были нормой в семье Ленина. Гостям, своим и иностранным, с трудом наскребалось то же. Аналогичной строгостью к себе и большой воздержанностью отличались и соратники Ленина.

У Сталина на «ближней» даче во время довольно частых званых ужинов для зарубежных коммунистических лидеров, конструкторов, дипломатов, военных, писателей, других приглашенных лиц было побогаче, чем у Ленина. Но в общем все было довольно скромно и просто. Не было особого обилия блюд. Не было никакой прислуги: каждый подходил к столу и накладывал себе на тарелку то, что ему хотелось.

У Хрущева еда занимала весьма важное место в жизни. С водворением его у кормила власти появилась большая армия специальной челяди, которая удовлетворяла аппетиты Хрущева не только у него на городской квартире и на даче, но и в любом общественном месте, где он был в данный момент.

Хрущев любил еду жирную, наваристую: борщи с мясом, сало, свинину в разных видах, блины со сметаной, вареники, галушки опять-таки с маслом и со сметаной, пельмени, всякие острые и жирные закуски. Ел он все это помногу и так же щедро запивал водкой либо коньяком. Поэтому еда следовала за ним всюду. Где бы не был Хрущев, какими бы делами не был занят: в Кремле, на Пленуме ЦК, на заседании Политбюро, на сессии Верховного Совета, на трибуне Мавзолея, на стадионе в Лужниках, в Большом театре — всюду, на всякий случай, всегда его и его возможных спутников ожидала горячая, обильная пища и разнообразный набор напитков.

В Пекине хрущевский культ еды ничем не был нарушен. Один из домиков нашей резиденции был отведен под столовую. Сюда мы все, члены делегации, собирались на трапезы и здесь нам представлялись все изысканные яства по-московски. Заведовал нашим питанием министр государственной безопасности И. А. Серов. Этим он занимался и в последующих поездках, а также на всяких встречах в Москве. Хрущев был очень привередлив в еде и частенько покрикивал:

— Серов! Почему суп не горячий?

— Иван Александрович! Ты что, решил нас несолеными отбивными кормить?

— Серов! А вобла есть?

Серов, присаживавшийся обычно к краю стола, на окрик

Хрущева срывался с места и мчался на кухню поправлять дело.

Я смотрел на эти сцены, слушал эти окрики и невольно думал: в какое холопское, унизительное положение ставит себя человек, являющийся членом ЦК, министром государственной безопасности, генералом армии! Разве мог бы допустить что-либо подобное в отношении себя Феликс Дзержинский хоть в тысячной доле? Впрочем, уже одно это сопоставление — Дзержинский и Серов — является оскорбительным для великого рыцаря революции Дзержинского.

Хрущевские кадры

…Сделавшись Первым секретарем ЦК, Н. Хрущев начал планомерно осуществлять гигантскую перестановку кадров в стране: от секретарей ЦК и союзных министров до секретарей обкомов и горкомов, председателей исполкомов и хозяйственных органов.

Хрущев без особого стеснения говорил, что нужно убрать «маленковских людей» и всюду расставить «свои кадры». Состав выдвигаемых новых работников был очень пестрый. Часто совершенно случайные и ничем не примечательные люди вдруг по воле и прихоти Хрущева назначались на сверхответственные посты. Иногда здесь происходили вещи поразительные. Но как только Хрущев укрепил свое положение, он получил возможность учинять такие поразительные вещи беспрепятственно. И он широко использовал это в своих честолюбивых целях.

Вот один пример из сотен такого рода нелепостей, И. И. Кузьмин. В молодые годы работал учеником столяра, слесарем. Затем окончил Военно-электротехническую академию. Далее работал на Прожекторном заводе и в Комиссии партийного контроля. Затем перешел в Совет Министров СССР на вопросы сельского хозяйства и заготовок (!), а оттуда — в ЦК партии на вопросы машиностроения (!). Это был очень юркий и пробивной человек, не обремененный высокими морально-этическими принципами.

Когда Хрущев затеял свою грандиозную эпопею с совнархозами, И. Кузьмин всюду восхищенно причитал: «правильно, Никита Сергеевич», «замечательно, Никита Сергеевич», «все восхищены вашими идеями, Никита Сергеевич, и ждут скорейшей организации совнархозов…»

Это и решило судьбу Кузьмина. На одном из заседаний Президиума Н. Хрущев вдруг предложил назначить Кузьмина не больше и не меньше как Председателем Госплана СССР. Я (тогда секретарь ЦК и кандидат в члены Президиума) взял слово и сказал:

— С момента организации Госплана и на протяжении трети века во главе Госплана стояли выдающиеся деятели коммунистической партии, образованные марксисты-экономисты, такие, как Глеб Максимилианович Кржижановский, Валериан Владимирович Куйбышев, Валерий Иванович Межлаук, Николай Алексеевич Вознесенский и другие. Теперь предлагается — Кузьмин. Ведь он же совершено невежественный человек в вопросах экономической теории. Как же может человек,

девственный в политической экономии, руководить составлением народнохозяйственного баланса, добиваться предупреждения диспропорций, возглавлять работы по составлению генплана? Ведь он же понятия не имеет, с чем это едят. Над нашим госаппаратом пронеслось немало бурь. Было немало всяких, в том числе и скороспелых, реорганизаций. Но, к счастью, сохранялся незыблемо Госплан — мозговой центр экономической жизни страны. И это предохраняло нас от многих бед. Назначить Кузьмина на Госплан — это значит загубить все дело народнохозяйственного планирования.

Хрущев был взбешен. На очередном (июльском) Пленуме ЦК он с возмущением повествовал, как «Шепилов, с профессорским высокомерием, разделывал под орех нашего замечательного работника товарища Кузьмина». И. Кузьмин был назначен Председателем Госплана СССР. Он стал очень значительным лицом в союзном правительстве.

Но прошло немного времени, и все увидели то, что и должны были увидеть: да ведь король-то голый! Хрущев поостыл. И на одном из заседаний Президиума заметил:

— Я бы Кузьмину не то что Госплан или народное хозяйство, я бы ему кухни своей не доверил.

Кузьмина потихоньку куда-то сплавили.

* * *

Во главе органов государственной безопасности после смерти Сталина и казни Берии поставлен был преданнейший сатрап Хрущева — И. А. Серов. В соответствии с этим произведены были и другие назначения и перемещения в системе МГБ. Теперь Хрущев мог быть уверенным, что с этой стороны ему не угрожает никакая опасность и его телохранители не могут превратиться вдруг в его тюремщиков.

Но в этом плане Хрущева всегда очень беспокоил персональный подбор высших военачальников. На данном этапе Хрущева вполне устраивал на посту министра обороны Н. А. Булганин, которого он во всех своих выступлениях называл своим «другом». Но одного этого было недостаточно. Весь ход последующих событий показал воочию, что только желанием предохранить себя от всяких неожиданностей со стороны Вооруженных Сил продиктованы были акты Хрущева в отношении многих маршалов и генералов.

Хрущев понимал, что высший генералитет Советской Армии иронически относится к его смешным потугам увековечить себя в

качестве выдающегося полководца. И он шаг за шагом, под всякими выдуманными предлогами, изгнал из Вооруженных Сил или фактически превратил в «свадебных генералов» самых прославленных полководцев Отечественной войны: маршалов Г. К. Жукова, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского, К. А. Мерецкова, Н. Н. Воронова, генералов армии А. В. Хрулева, А. В. Горбатова, М. М. Попова и многих, многих других.

Вместо этих действительно выдающихся и талантливых полководцев возводились в ранг маршалов и ставились на самые высокие посты очень посредственные люди, готовые быть верноподданными Хрущеву. Именно так наделен был званием маршала и назначен командующим войсками Московского военного округа генерал К. С. Москаленко или получил маршальский жезл генерал Ф. И. Голиков. Хрущев хорошо знал, что генерал Голиков, занимая пост начальника Главного управления кадров Советской Армии, был повинен в шельмовании и истреблении многих военных, что он непосредственно причастен к зловещему «Ленинградскому делу». Но великодушная амнистия Хрущевым злоупотреблений со стороны Голикова против советских людей, так же как амнистия преступлений А. Серова в системе органов государственной безопасности, делали того и другого благодарными и преданными Хрущеву людьми.

В качестве именно такого лица Ф. Голиков не только возведен был в ранг маршала, но и назначен начальником Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. Однако преступления Голикова против военных и против ленинградских кадров стали постепенно широко известными командным кадрам вооруженных сил, ленинградской и всей советской интеллигенции, Опасаясь судебной ответственности, Голиков симулировал душевное заболевание, и дело ограничилось снятием его с поста начальника Главпура. Но маршальская звезда у него осталась, и по большим пролетарским праздникам Голикова можно было видеть красующимся на трибуне Мавзолея или выступающим перед молодежью в качестве героя Отечественной войны.

* * *

Органы государственной безопасности, Вооруженные Силы, Министерство внутренних дел были для Хрущева теми важнейшими опорными пунктами, во главе которых он считал

необходимым иметь своих, особо доверенных лиц и руководство которыми он хотел осуществлять только лично и непосредственно.

Но огромные перестановки руководящих кадров шли во всех министерствах, в идеологических учреждениях, в республиках, краях и областях. Нередко освобождались работники по-настоящему образованные, идейные, опытные, честные и заменялись людьми куда более слабыми, менее культурными и не безупречными в морально-политическом отношении. На недоуменные вопросы: «В чем дело? Почему министр икс заменен игреком? Почему на этот важный пост поставлен такой совершенно неподходящий человек, как зет?» — следовали ответы: «С игреком Никита Сергеевич работал на Украине… зета Никита Сергеевич знает по совместной работе в МК партии».

Хрущев мастерски использовал и усовершенствовал сложившуюся систему подбора и расстановки кадров. Прошло несколько лет после избрания его Первым секретарем ЦК, и в органах партийного руководства и государственного управления в центре и на местах оказались более чем в достатке «хрущевские кадры».

Среди выдвиженцев этих лет было немало старых и молодых неиспорченных людей, со здравыми взглядами на жизнь, которые успешно вели порученные дела. Но на важнейших участках в большинстве своем оказались именно те, кого в народе стали именовать «хрущевцами»: люди, как правило, малокультурные, невежественные, высокомерные. Страна, народ неуклонно продолжали цивилизоваться. А идейно-теоретический и деловой уровень и нравственный облик кадров, причастных к управлению страной, по сравнению с прошлым снижался, ибо подбор и расстановка людей производились по образу и подобию, по вкусам и прихотям Хрущева.

Однако дело не только в выборе тех или иных людей; сама по себе система подбора работников не по деловым и моральным качествам, а по принципу «личного знакомства», «своих людей» — губительна для партии и государства. Ответственное лицо, поставленное на этот пост потому, что оно — «свой человек», практикует ту же систему, тоже подбирает «своих людей». И так идет дело по вертикали и горизонтали. В результате вокруг каждого высокопоставленного работника образуется артель «своих людей» — «рязанских», «тамбовских», «украинских», «наркомтяжпромовских», — подобранных по месту жительства или по ведомству прежней работы совместно с высоким начальником. В практике они именовались и по-другому: «ежовский человек», «маленковский человек», «хрущевский

человек» и т. д.

В такой артели неизбежно складывается система круговой поруки, кругового поощрения и кругового восхваления. Никакая критическая волна снизу не в состоянии прорвать плотную оборону из «своих людей» вокруг высокопоставленного лица. В результате такое лицо, его работа оказываются вне критики и контроля.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов среди партийного актива стало широко известно, что состоялось секретное постановление Политбюро ЦК, по которому запрещалось критиковать Политбюро, членов Политбюро и ЦК в целом. Сталин будто бы мотивировал это тем, что в связи с обострением классовой и внутрипартийной борьбы авторитет высших органов руководства должен быть абсолютным.

Я не проверял этого факта и не знаю, правда ли это, было ли действительно такое постановление, которым должны были руководствоваться все партийные организации, органы печати и отдельные коммунисты. Но что вскоре после смерти Ленина постепенно сложились именно такие порядки и нормы, ставшие законом, — это общеизвестно. И такие нормы широко распространились на определенный круг людей по горизонтали и вертикали.

Зная великолепно все передачи, шестеренки и винтики механизма критики в партии, Хрущев постоянно использовал его для закрепления своей личной власти, не гнушаясь никакой неправдой. И он был абсолютно нетерпим к любому замечанию в свой адрес или в адрес своих подопечных: такой критик немедленно терял пост и отсылался в провинцию, на заграничную работу или отправлялся на пенсию; сажать таких в тюрьму Хрущев уже был не в состоянии, ибо, критикуя Сталина, он надел на себя мантию блюстителя законности и саморазоблачиться уже не мог.

Выдвинутые Хрущевым кадры — все эти аджубеи, ильичевы, сатюковы, пономаревы — безоговорочно поддерживали его, когда он затевал самые невероятные реформы. Трагические годы хрущевского единовластия они провозглашали «великим десятилетием». Они остервенело шельмовали всякого, кто поднимал голос против хрущевских безумств. И они, конечно, отвернулись от него и громче всех начали проклинать его, как только стало ясным, что дни Хрущева сочтены.

* * *

Важнейшим резервуаром кадров для работы во всесоюзном масштабе Хрущев считал Украину. И это вполне естественно. Республика с более чем 40-миллионным населением, могучей и первоклассной промышленностью, разносторонне развитым сельским хозяйством. Республика, располагающая богатейшими кадрами организаторов, технической, художественной интеллигенции, агрономов, учителей, врачей.

За годы революции гигантски умножились материальные и духовные богатства республики, выросли ее многонациональные кадры. И закономерно, что Украина должна щедро давать свои кадры для других республик, краев и областей Союза. Хрущев энергично действовал в этом направлении. Он прожил и проработал большую часть своей жизни на Украине и, естественно, хотел ее преуспевания и прославления. Но и в это благое дело он вносил много субъективного. Будучи до крайности честолюбивым человеком, он хотел, чтобы после перевода его на работу в Москву украинский народ видел в нем своего щедрого «шефа» и «покровителя». Этими чувствами и продиктован был ряд мер со стороны Хрущева, на которых была явная печать заискивания перед украинскими кадрами и которые, в отдельных случаях, противоречили конституционным устоям советского государства. Последующий ход событий показал глубокое заблуждение Хрущева, что на Украине он — любимый отец. К концу «великого десятилетия» именно на Украине и среди украинских кадров, может быть, в большей мере, чем в других республиках и среди других отрядов интеллигенции, Хрущев стяжал себе всеобщую неприязнь и презрение.

Одной из мер «завоевания» на свою сторону Украины было хрущевское решение о Крыме.

Приближались торжества, посвященные 300-летию воссоединения Украины с Россией. Эта знаменательная дата, конечно, вполне заслуживала того, чтобы отметить ее как большой праздник народов Советского Союза, как живое олицетворение торжества ленинской национальной политики.

В этой связи празднично прошли юбилейные сессии Верховных Советов УССР и РСФСР. Украинская республика и город Киев были награждены орденами Ленина. Киевский театр им. Шевченко показал в Большом театре свои лучшие оперы и балеты. У Киевского вокзала в Москве заложен был камень будущего монумента в честь воссоединения. В Москве и в Киеве состоялись грандиозные военные парады и демонстрации. Словом, делалось все необходимое во имя благородной цели — дальнейшего укрепления дружбы двух крупнейших народов и всех других народов советской страны.

Но Хрущеву хотелось от себя преподнести Украине подарок на золотом блюде, чтобы вся республика знала о его щедрости и постоянной заботе о преуспевании Украины.

В Большом Кремлевском дворце шло одно из многочисленных тогда совещаний по сельскому хозяйству. За столом президиума находились все члены Президиума ЦК и Секретариата ЦК. В перерыве, как обычно, члены Президиума и секретари собирались в двух комнатах, примыкавших к трибуне президиума Большого зала — на завтрак или обед, или ужин, смотря по времени. Почти всегда во время таких перерывов обговаривались и здесь же решались неотложные дела международного или внутреннего характера. По какому-то вопросу вызвали сюда из Большого зала и меня.

Обсуждались один, другой неотложные вопросы. Вдруг Хрущев внес предложение: в связи с празднованием 300-летия передать Крымскую область из Российской Федерации в состав Украинской Республики.

— От Крыма до России далеко, — сказал он. — Украина ближе. Легче будет вести всякие хозяйственные дела. Я уже кое-с кем говорил на этот счет. У украинцев, конечно, слюнки текут, они будут рады-радешеньки, если мы им Крым отдадим. С Федерацией Российской тоже, я думаю, договоримся. Надо только обставить это все с умом: чтобы Верховные Советы обеих республик просили союзный Верховный Совет сделать такую передачу. А Ворошилову надо все это провести по-доброму через Президиум Верховного Совета СССР. Я думаю — возражений не будет?..

* * *

Конечно, предложение Хрущева было неправильным, ибо оно грубо попирало исторические традиции. Крым был ареной многовековой борьбы русского народа против татарско-турецкого ига, в условиях которого Крым был превращен в огромный мировой невольничий рынок. Военные походы на Крым Ивана Грозного в 1556–1559 гг.; битвы российского воинства под командованием князя Голицына за Перекоп; азовские походы Петра Великого в 1695–1696 гг., открывшие доступ России к Азовскому и Черному морям; русско-турецкая война 1768–1774 гг., навсегда покончившая с турецким владычеством в Крыму, — все это памятные страницы в истории российской государственности и российского воинства. В освободительных войнах за Крым увековечили свою славу А. В. Суворов,

М. И. Кутузов, Ф. Ф. Ушаков.

С 1918 г. Крым (Республика Тавриды, Автономная Крымская республика, Крымская область) входили в состав Российской Федерации. Здесь десятилетиями сложились прочные связи с плановыми, финансовыми, культурными и другими организациями Российской Федерации.

Но главное и решающее — это этнический состав области. Конечно, при социалистическом строе, в условиях нерушимой дружбы народов решение территориальных вопросов не представляет трудностей и не может вызывать социальных конфликтов. Полюбовно проходило территориальное размежевание Среднеазиатских республик, полюбовно Казахстан передавал часть своей территории Узбекистану и т. д.

Но при осуществлении любой такой меры партия и правительство всегда учитывали совокупность всех обстоятельств, чтобы не допустить ущемления прав какой-либо нации, национальной группы или народности, особенно малой. Известно, что, в соответствии с принципами Советской Конституции, даже районы с небольшим по численности, но особым по национальному составу населением выделены в автономные национальные округа.

При этом неизменно преследовалась одна цель: постоянно укреплять дружбу народов, братское сотрудничество в рамках единого многонационального социалистического государства.

Когда Хрущев вносил свой проект о передаче Крыма Украине, население Крымской области насчитывало 1 миллион 200 тысяч человек, из них 71,4 процента составляли русские, 22,2 процента — украинцы и 6,4 процента другие национальности. И тем не менее когда Хрущев задал свой вопрос: «Я думаю, возражений не будет?» — Н. Булганин, А. Микоян, А. Кириченко, Л. Каганович и другие откликнулись возгласами: «Правильно! Принять! Передать!» И только стоявший у дверей в соседнюю комнату в ожидании какого-то телефонного разговора В. Молотов сказал, ни к кому не обращаясь:

— Конечно, такое предложение является неправильным. Но, по-видимому, придется его принимать.

Так появился на свет Указ от 19 февраля 1954 г. о передаче Крымской области из РСФСР в состав УССР. Несостоятельность изложенных в Указе мотивов такой передачи: общность экономики, территориальная близость, наличие хозяйственных и культурных связей — была для всех очевидна. И все же Указ появился. И в Крыму начали переделывать вывески на украинский язык, вводить радиовещание, газеты на украинском языке и т. д.

* * *

Я остановился подробно на этом сравнительно небольшом событии потому, что оно во многих отношениях поучительно.

Дело, конечно, не в том, что обидели Россию. Это трудно сделать в отношении республики с почти 120-миллионным населением, да еще бывшей господствующей нации. И при старом, и при новом положении Крым был и остается здравницей, житницей, садом, цветником — словом, жемчужиной всех народов Советского Союза.

Но дело в том, что это был один из первых актов хрущевского субъективистского, произвольного подхода к решению государственных вопросов. Хрущеву хотелось сделать Украине в связи с юбилеем подарок и этим положить на чашу весов своей, как ему казалось, славы на Украине, еще одну гирьку. Это было явным и грубым нарушением принципов национальной политики партии и государства. И, конечно, не только Молотов, подавший свою реплику, но и другие (русские, украинские, белорусские, грузинские и т. д. коммунисты) понимали принципиальную неправильность и нецелесообразность такого акта со всех точек зрения.

Но стоит ли на Президиуме из-за этого спорить? Да еще на первых порах. Сразу после смерти Сталина, когда все условились стараться сохранять «единство», не осложнять положения в руководстве. Стоит ли?

Для Н. Хрущева несколько таких первых дел были пробным камнем. Своими хитроватыми припухшими глазками он всматривался в лица окружающих. Пройдет ли вопрос на Президиуме? Да, прошел. Прошел и другой такого рода вопрос. И у Хрущева с каждым разом постепенно нарастала уверенность в себе, в голосе усиливался металл, в тоне начинали возобладать повелительные нотки.

Торжества в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией завершились 30 мая военным парадом и демонстрацией на Красной площади. Вечером в Кремлевском дворце состоялся большой прием.

В прекрасном Георгиевском зале собрались члены ЦК КПСС, члены правительства СССР и РСФСР, делегации Украины и всех других союзных республик, знатные люди промышленности и сельского хозяйства, представители Советской Армии, науки, искусства, дипломатический корпус.

Безраздельным героем приема был Хрущев. Провозглашая тост за тостом, опрокидывая рюмку за рюмкой, он весь сверкал от удовольствия. Как и во всех других случаях, чем больше

насыщался он алкогольным нектаром, тем неудержимей становилась его жажда речи. За официальными тостами последовали, так сказать, «неофициальные». В присутствии всех гостей, их жен, членов дипломатического корпуса, официантов Хрущев снова, подробно и с самодовольством излагал всю историю ареста Берии и суда над ним. Он рисовал живописные картинки — как быстро мы решим все стоящие перед страной задачи и будем вкушать плоды изобилия, перейдем от «сицилизьма» к «коммунизьму».

Во время одной из речей в Георгиевском зале появился В. Молотов. Он был на совещании министров иностранных дел в Женеве. И, только что прилетев оттуда, попал, «как Чацкий — с корабля на бал». Хрущев прервал свою речь, подошел к Молотову, обнял, расцеловал его и провозгласил тост за Молотова:

— Мы с вами живем и работаем в своей стране. Нам, как видите, неплохо. А ведь Вячеславу Михайловичу, бедняге, приходится все время иметь дело с империалистами…

И Хрущев еще долго говорил о достоинствах и тяжкой доле Молотова.

Трудно сказать, какие чувства владели при этом Молотовым. Лицо его оставалось недвижимым, манеры сдержанными. Он лишь чуть-чуть сделал движение рукой вперед, в сторону гостей, поставил, не пригубив, рюмку на стол и отошел в сторонку.

Всего пять месяцев назад в этом же Георгиевском зале Кремлевского дворца мы встречали Новый год. Было так же многолюдно. Новогоднее поздравление произносил, по традиции, Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов. Хозяином вечера был Председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков. Он принимал гостей. Он приветствовал членов дипломатического корпуса. Он провозглашал здравицы. Юридически и Маленков, и Хрущев, и все другие члены руководства остались на тех же постах, что и на новогоднем вечере. Но теперь даже непосвященные в «тайны Кремля» видели, в какую сторону произошла передвижка сил.

Где-то незаметно переминался с ноги на ногу Маленков. С разными выражениями лиц, с разными настроениями, но в общем-то на положении вторых-третьих лиц взирали на гостей все члены Президиума, Секретари ЦК. Весь зал заполнял теперь голос, жесты, лоснящиеся от жирных блюд улыбки того, кто именовался теперь Первым секретарем ЦК. А все растущий круг фаворитов уже услужливо называл его тем отвратительным и зловещим именем, которое перекочевало из сталинской эпохи — «хозяин».

«Антипартийная группа»

… За какие-то месяцы до Июньского пленума 1957 года я приехал в Кремль, иду — дверь открывается, кто-то выходит из кабинета Микояна. И я слышу через дверь громкий, очень возбужденный голос. Я вошел, сел; Микоян продолжает говорить: «Правильно, Николай, это нетерпимо, совершенно нетерпимо это дальше». Потом положил трубку и обратился ко мне: «С Булганиным говорил. Вы знаете, Дмитрий Трофимович, положение просто невыносимое. Мы хотим проучить Хрущева, дальше так совершенно невозможно: все отвергает, ни с кем не считается, все эти его проекты… так загубим дело. Надо поговорить на этот счет серьезно».

Я промолчал, не ответил ни «да», ни «нет», потому что я по другому делу приехал, просто случайный разговор был…

Еще эпизод: это было, когда Хрущев уже не приезжал ко мне домой, мы уже не гуляли вместе.

Помню, я вышел и около дачи прохаживался.

Останавливается машина, выходит Ворошилов. «Дмитрий Трофимович, я еду на свадьбу к Сергею, сыну Хрущева. А вы разве не едете?» Нет, говорю, я не приглашен.

«Дмитрий Трофимович, надо что-то делать; Ну, это же невыносимо: всех оскорбляет, всех унижает, ни с чем не считается…»

Я говорю:

— Климент Ефремович, почему вы мне это говорите? Вы же старейший член партии. Вы член Политбюро. Почему вы мне-то говорите?

— Ведь вы же у нас главный идеолог.

— Ну, какой я главный идеолог: главный идеолог у нас Хрущев. Вы напрасно мне это говорите. Ставьте вопрос, у меня есть свое мнение.

Я даже ему не сказал какое…

Сейчас события 1957 года подаются, как хорошо организованный заговор стариков, желавших вернуть все к сталинизму. Ничего подобного, совершенно неправильно. Потом, значительно позже, прошел слух, что Булганин был лидером антипартийной группы. Я ничего не слышал об антипартийной группе, просто все стали говорить, что дальше уже так нельзя, мы так пропадем. Наступило такое время, когда что-то нужно было делать. Страна, партия, торговля, экономика — все рушится, все куролесится, со всеми переругался, с Китаем порвал… Ходили слухи, будто на каком-то заседании Совмина Булганин как

председательствующий — об этом я от самого Хрущева слышал — говорил: товарищи, невыносимо дальше. Мы идем к катастрофе. Надо собраться и обсудить этот вопрос.

Но я об этом узнал гораздо позже. Видимо, был какой-то сбор, где они готовились, но кто был инициатором — не знаю. Я-то думаю, что никакой группы антипартийной не существовало.

* * *

В тот день, когда состоялось выступление против Хрущева, мне позвонили и сказали, что сегодня будет заседание Политбюро в четыре часа.

И вот я пришел, смотрю, нет только Жукова (он через пару минут появился).

Хрущев начал было: «Я предлагаю…»

Маленков: «Подожди, Никита Сергеевич. Товарищи, я предлагаю, прежде чем приступить к текущим вопросам, обсудить вопрос нарушения коллективности руководства товарищем Хрущевым. Дальше уже невозможно совершенно. А раз это так, я предлагаю: неудобно Хрущеву вести это заседание, я бы на его месте не председательствовал».

Хрущев встает и разводит руками: пожалуйста, пожалуйста! Он уже все знал, конечно, Серов ему доложил.

Маленков: «Я предлагаю, чтобы председательствовал Булганин».

Булганин садится за председательский стол: товарищи, ну чего здесь — все факты вы знаете. Невыносимо. Мы идем к катастрофе. Все стало решаться единолично. Мы вернулись в прежние времена.

Стали по цепочке выступать. Я выступил действительно резко. Начал я так: советский народ и наша партия заплатили большой кровью за культ личности. И вот прошло время, и мы снова оказались перед фактом нового, формирующегося культа. Хрущев надел валенки Сталина и начал в них топать, осваивать их, и так далее.

Он — знаток всех вопросов, он докладчик на пленумах и прочее по всем вопросам, промышленность ли, сельское ли хозяйство, международные дела, идеология — все решает он. Причем неграмотно, неправильно.

Вот тут Хрущев бросил мне реплику: сколько лет вы учились? Я отвечаю: я очень дорого народу стоил. Я закончил десятилетку, четыре курса университета, аграрный институт…

Я еще сказал, что полностью разделяю линию партии, у меня

нет никаких расхождений с ней, но целый ряд мероприятий, вопросов, международных и внутренних, которые есть, — по ним я говорил с Никитой Сергеевичем, пытался убеждать, ничего не вышло, ничего не воспринимается, а дела идут все хуже и хуже.

И я начал перебирать один вопрос за другим. Может быть, чересчур темпераментно.

Коснулся я еще одной темы. Очень большую роль в этом деле Серов сыграл; это подлый, гнусный тип, один из заместителей Берии раньше — он стал председателем КГБ. И стал фаворитом у Хрущева.

Он делал подлые дела, и на пленуме Булганин сказал: «У меня в доме перекопали все за одну ночь, пока меня не было, Серов провел везде свои провода». Булганина поддержали: и меня подслушивают, и меня!

И я об этом говорил. Упомянул Фурцеву. Дело в том, что Фурцева до этого ко мне бегала: что у нас делается, все разваливается, все гибнет. И когда приходила, то шептала: «Давайте отойдем! Подслушивают, закройте чем-нибудь телефон».

А накануне заседания, за два дня, приходит бледная, возбужденная Фурцева и, видимо зная, что Хрущев обо всем уже осведомлен, говорит:

— Я пришла вас предупредить, что если будет обсуждаться этот вопрос и вы позволите себе сказать, о чем мы с вами говорили, мы вас сотрем в лагерную пыль.

— …Кто — мы?

— Я секретарь Московского комитета партии, МК мне подчиняется, мы вас сотрем.

Я говорю:

— Товарищ Фурцева, вы что говорите? Вы же сами ко мне приходили и жаловались на положение дел.

— Ничего я к вам не приходила!

Так вот, говорю я уже в своем выступлении на Политбюро, какое складывается дикое положение: два секретаря ЦК, Фурцева и я, никогда ни в каких оппозициях не были, ничего провокационного не делали — и мы не можем друг с другом поговорить!

Тут Фурцева — с воплем: провокация! Вот, говорю, до чего дошло у нас дело с коллективностью руководства в партии.

* * *

Должен сказать, что, когда развернулись прения, ни один

человек из высказывающихся, в том числе те, кого причисляли к антипартийной группе, ни один не предложил каких-нибудь репрессий против Хрущева, все говорили, что положение нетерпимое, надо Хрущева освободить от должности Первого секретаря и назначить министром сельского хозяйства, оставив в составе Политбюро. А потом, как оказалось, пока мы на заседании высказывались за снятие Хрущева и назначили на понедельник созвать пленум (а наше заседание было в четверг или пятницу), серовские люди вызывали членов ЦК и запугивали, что сейчас начнутся аресты и репрессии.

Еще важный эпизод. Когда разгорелись эти прения, Жуков тоже выступил критически. А потом Жуков толкает меня локтем и показывает свою записку Булганину. Дословно она была такая: «Николай Александрович, предлагаю на этом обсуждение вопроса закончить. Объявить Хрущеву за нарушение принципа коллективности руководства строгий выговор и пока все оставить по-старому, а дальше посмотрим».

Потом говорили, будто Жуков Хрущева спас, что он был за Хрущева, но все было не так.

Когда дело закончилось, и я был выведен из состава ЦК и все прочее, как раз вижу Жукова. Говорю: «Георгий Константинович, следующим будешь ты». Дело в том (мне об этом Микоян сказал), что Булганин эту записку Жукова показал Хрущеву, и тот простить такого не мог…

После пленума началась пора репрессий. Хрущев снимал с должностей, порочил. Скажем, он отправил Байбакова в совнархоз. Обозвал его публично в Колонном зале: это шепиловец активный. И — в совнархоз.

А мне Хрущев сказал: «Вы мне самый большой урон нанесли. Молотова, Ворошилова и прочих я задвигал, критиковал, а вас-то я выдвигал, вас мы приподнимали, и уж если вы выступили против меня, то, по-видимому, это по принципиальным соображениям…»

Я ему: «Конечно, не по беспринципным…»

А. И. Аджубей
Время Хрущева
(Из книги А. И. Аджубея «Те десять лет)

Рядом со Сталиным

…Заканчивался 1949 год. Месяца через два студенты 3-го курса отделения журналистики МГУ, сдав очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Мы с Радой готовились к экзаменам в московской квартире ее отца Никиты Сергеевича Хрущева. Он тогда работал на Украине.

Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как 5-й дом Советов, прежде принадлежал графам Шереметевым. Был он построен по проекту архитектора Александра Мейснера в конце XIX века. До революции в этом аляповатом П-образном здании с небольшим въездным скверико снимала квартиры богатая публика.

В 20 — 30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. Получил здесь квартиру и Н. С. Хрущев — переехал из «дома на набережной». В 1938 году Никиту Сергеевича избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину Первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировки — из Киева ли, с фронта во время войны, — он жил здесь. Полупустая, обставленная в стиле тех лет квартира — без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Настольные лампы на гранитных постаментах с колпаками из матового стекла и оторочкой «под бронзу» напоминали большие грибы. Тяжелая, скучная мебель — стулья и диваны в полотняных чехлах, кровати, столы, книжные шкафы, тумбочки. По-видимому, так же было и в других квартирах этого дома, поскольку на то существовал неписаный стандарт. Тогда еще высокопоставленные лица не занимались «интерьером».

Позже я понял происхождение вкусов того времени. В такой «казенной» обстановке жил Сталин. На юге, в Москве, в Подмосковье, на квартире и дачах все у него было точно таким же. Дерево на полу, потолке, стенах. Минимум мебели, никаких картин. Мебель изготавливалась на одной фабрике по шаблону.

Хозяева квартир — во всяком случае, так было у Хрущевых — не считали себя собственниками домашней утвари. Там, где они жили, им фактически ничего не принадлежало. На простынях и полотенцах стояли синие клейма «5-й дом Советов» либо другие учрежденческие знаки. К столам, стульям, диванам были привинчены металлические инвентарные жетоны. Время от времени в квартире появлялись строгие мужчины, чтобы сверить инвентарные номера с записями в тетрадях, как будто кто-нибудь из жильцов мог покуситься на это добро.

Все было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать

семьям руководителей. Звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин.

Летом 1949 года Нина Петровна сказала: «Едем в Ливадию». Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. Во флигеле для свиты отдыхала семья Хрущева, во дворце — Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого общения между нами не было. Семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра.

У всех, кто был близок к «хозяину», соприкасался с ним, он все больше вызывал чувство панического ужаса. Его действия, решения, умозаключения порой не находили каких-либо разумных объяснений. Хрущев как-то вспомнил такой эпизод. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: «Пойду попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы», — и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей спешили соединить две братские столицы, как напряглись переводчики, получившие указание переводить слова Сталина и ответы Мао Цзэдуна.

Все в молчании ждали. Сталин вернулся. Медленно отодвинул стул. Не любил, чтобы ему помогали. Сел. Сказал: «Деньги дает, но брать не будем!»

…В тот год, о котором идет речь, наступала середина XX века. Ощущение рубежа возникло у меня еще и потому, что в конце 1949-го я единственный раз видел Сталина достаточно близко, не из студенческой колонны на демонстрации, а в Большом театре, где шло торжественное заседание, посвященное его семидесятилетию.

Сталин сидел в центре длинного, во всю сцену, стола. Рядом — Мао Цзэдун. Хрущев как секретарь МК и распорядитель вечера — слева от юбиляра. Казалось, Сталин совсем не реагирует на потоки приветственных слов, которые лились с трибуны.

Юбилейный вечер шел много часов. На стол президиума ложились все новые букеты, казавшиеся особенно яркими и нарядными в этот зимний месяц. Наступил момент, когда фигура Сталина скрылась за холмом из цветов, я спросил жену: «Почему Никита Сергеевич не отодвинет цветы?» — «Но он же его не просит», — ответила Рада. Может быть, Сталина устраивала такая необычная ширма, отделявшая его от зала?

Наконец речи кончились. Все встали, и овация, но без выкриков и скандирования, как и полагалось при таком составе публики, долго гремела в зале. Встал и Сталин. Невысокий щуплый человек повернулся спиной к залу, чтобы уйти, — и тут меня поразил большой круг лысины. Знаменитый посеребренный

бобрик, который с такой тщательностью выписывали художники и «прорабатывали» на фотографиях ретушеры, оказался редким венчиком. Я ничего не сказал Раде, наверное, от испуга, что мне стало известно нечто сверхсекретное. Сталин медленно уходил со сцены, не останавливаясь и не разговаривая с почтительно расступившимися людьми, прижав к боку согнутую в локте левую руку. Говорили, что она у него подсыхала, укорачивалась, и он инстинктивно сгибал ее, чтобы на это не особенно обращали внимание.

Странная жалость пронзила меня тогда. Он на миг предстал обыкновенным человеком, как все. Да и много ли нам известно о нем как о человеке даже сегодня? Долго мы довольствовались самым минимумом. Ну, например, тем, что он любил набивать трубку табаком из папирос «Герцеговина флор»…

* * *

В 1949 году с Украины в Москву был переведен Хрущев, а начале 1950 года в Москву переехала с семьей Нина Петровна Хрущева. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра жены, Лена, ее брат Сергей, Юля — дочь старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида, погибшего под Смоленском в воздушном бою, — все школьники, и все требовали внимания.

Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сюсюканья. Младшие видели отца практически только по воскресеньям, да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих знакомых: профессора Лорха — выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране, селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесничего. Люди сельского труда, «волшебники земли» вызывали у Никиты Сергеевича чувство уважения. Он всегда ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесничего, сирень Колесникова, торфокомпост Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфо-перегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже — кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за

дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было — улучшить жизнь.

Хрущев призывал все считать. Сколько в хозяйствах имеется скота на 100 гектарах пашни, сколько потрачено кормовых единиц на производство тонны мяса, молока, какова их себестоимость и т. д. В то время это было важной экономической новацией.

Теоретические и другие обоснования уходили на второй план и могли даже раздражать Хрущева. Во время различных совещаний Никита Сергеевич охотно разговаривал прямо с трибуны с множеством людей, присутствовавших в зале. Дело было не только в том, что он обращался к ним по имени и отчеству, эту нехитрую науку усвоить несложно. Он обращался к каждому конкретно, по существу текущих дел, забот, спорил, в чем-то убеждал и радовался, когда слышал дельные реплики.

Я видел, как загорались его глаза, когда он узнавал о высоких урожаях кукурузы, пшеницы, надоях, привесах, переносил достижения одного колхоза, бригады, звена на обширные поля страны. Ему казалось, что такое распространение опыта лучших поможет решить все продовольственные проблемы. Задача оказалась куда сложнее.

Хрущев, конечно, был прагматиком, но, как справедливо отметил писатель Анатолий Стреляный, и последним романтиком на таком высоком посту.

Вновь начав работать в Москве, он, конечно, вынужден был вести себя «осмотрительнее», чем на Украине, где контроль был не столь пристальным.

Украина навсегда осталась в его сердце. Смешно рассказывал иногда о своих поездках по украинским колхозам. Вспоминал такой случай. Как-то в первый послевоенный год заехал он к одному своему знакомому председателю колхоза (Хрущев хорошо знал сельских тружеников, с ними ему было легко и просто). К вечеру, когда осмотрели хозяйство, председатель пригласил на ужин и, уже сильно захмелев, стал выпрашивать ящик гвоздей. «Товарищ Хрущев, — все настойчивее говорил он, — достаньте ящик гвоздей, ведь наш колхоз носит ваше имя. — Поняв, что дело швах, хватил еще рюмку и выложил самый сильный, с его точки зрения, аргумент — Товарищ Хрущев, достаньте, я вас прошу. Учтите, вы носите имя нашего колхоза!»

* * *

…15 января 1953 года в «Комсомольской правде» появилась передовая статья «Быть зорким и бдительным». За три дня до этого меня вызвал заместитель главного редактора Отар Давидович Гоцеридзе, усадил за стол, запер дверь кабинета и, протянув небольшую папку, сказал: «На, прочти, запомни, что здесь сказано, а потом пиши передовую. Сообщение будет завтра, а передовая нужна к вечеру. Читай, читай, потом обсудим».

Он занялся своими делами, а я начал просматривать странички из папки, и у меня зарябило в глазах. Врач кремлевской больницы Лидия Федоровна Тимашук раскрыла банду врачей-вредителей, убийц и шпионов, повинных в гибели ряда видных деятелей партии и государства и готовивших еще более злодейские акты. Сообщалось, что они залечили до смерти Жданова и Щербакова. Среди врачей-убийц — профессора Вовси, Виноградов, Коган, Фельдман, начальник лечсанупра Кремля Егоров и другие. Академики, доктора наук, медицинские светила, допущенные в святая святых — Кремль! Вчитываясь в строки сообщения, я содрогался. Мой личный опыт общения с врачами был равен нулю, однако встречались знакомые имена. Одним из первых был назван Владимир Никитич Виноградов, крупнейший терапевт, блестящий диагност.

Он не раз бывал в доме Хрущева, лечил Нину Петровну, оставался по приглашению хозяев обедать, рассказывал анекдоты из медицинской практики.

И этот Виноградов, доброжелательный, как говорили, много лет наблюдавший за здоровьем Сталина, — шпион и убийца! У нас с женой только что, 21 декабря 1952 года, в день рождения Сталина, появился первенец — Никита; Рада еще лежала в родильном доме на улице Веснина, в том самом, из «врат» которого вышли в свет многие сыновья, дочери, внуки и внучки партийных и советских руководителей — «правительственные дети», как говорили сотрудники роддома. Читая документы, я невольно думал о Раде и малыше.

Виноградов запомнился еще и потому, что он густо пересыпал свои фразы непонятным словечком «куцо». «Прихожу вчера домой, куцо, а ветер раскрыл окно, все бумаги, куцо, на полу…» Это словечко, похожее на «кацо», каким-то странным образом шло Владимиру Никитичу.

«Куцо» — стучало в висках, наверное, я выглядел ошалелым. Гоцеридзе покачал головой и со значением сказал: «Вот так-то. Ты все понял? Нужна передовая. Материалы, которыми следует пользоваться, перечитай серьезно». Он встал, открыл дверь кабинета, протянул ключ: «Запрись, чтобы не мешали. Когда напишешь статью, отдашь мне». Он не прибавил «только мне», но

это было само собой понятно.

В той передовой были такие строки: «Выступая на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году, товарищ Сталин говорил: «Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к Советскому социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?»

В бумагах, которые я получил, эту цитату особо рекомендовалось использовать. Передовую напечатали. На редакционной летучке, где оцениваются и разбираются номера газеты за прошедшую неделю, о ней не было сказано ни слова. Такие темы не критиковались. Не стану утверждать, что тон передовой был более спокойным, чем в других газетах. Концовка призывала молодежь к зоркости и бдительности. Единственное, что отличало передовую, — в ней не перечислялись имена врачей. Теперь данное обстоятельство можно поставить себе в заслугу. Но малого стоит такая заслуга. Стыд перевешивает все оправдания.

Через много лет Светлана Сталина напишет, что после ареста врачей ее отец отказался от услуг медиков, начал выбирать лекарства сам, капал в мензурку йод от склероза. Еще бы, как он мог пустить в дом людей вроде Виноградова, который пользовал его двадцать лет, которому он поверял интимные стороны своей жизни, рассказывал о болях душевных и телесных, а презренный убийца исподволь готовил ему страшную кончину?!

Врач для больного как священник для верующего. Если лгут священники, — а это Сталин знал, ибо сам мог стать священником, — почему не могут лгать врачи? Почему буржуазные государства «должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?».

Ненависть к врачам-убийцам набирала силу. Газеты публиковали отклики трудящихся, клеймивших шпионов и извергов. Был опубликован Указ о награждении Тимашук орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц». Нашлось немалое число желающих занести и своего районного доктора в шпионы и вредители. Матери с ужасом вспоминали, что лечили своих детей у того или иного из обвиненных. Больные требовали, чтобы в аптеках установили более строгий контроль за приготовлением лекарств.

В доме Хрущевых арест врачей не комментировался, хотя естественно предположить — никого не оставил равнодушным. Никита Сергеевич предпочитал лечиться сам. Иногда он приезжал с работы днем, и его ждала горячая ванна. Таким нехитрым, но проверенным способом ему удавалось снимать почечные колики.

* * *

…Весна 1953 года была холодной, оттепели еще не согнали снег с подмосковных полей, в лесу лежали не тронутые солнцем сугробы. Жена с сыном жили на даче Хрущева. Рада вставала ранним утром и обычно спрашивала у домашней работницы, когда вернулся отец, стоит ли ждать его к завтраку. В тот день Никита Сергеевич приехал после 12 ночи, но через два часа его вызвали снова, и он еще не возвращался. Всякое тогда приходило на ум при таких внезапных отъездах. На следующее утро радио передало правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР, Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В среду, 4 марта, это сообщение было опубликовано.

«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР сообщаю о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища И. В. Сталина.

В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания».

Бюллетени о состоянии здоровья Сталина публиковались до 16 часов 5 марта. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР известили, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Тут же печаталось медицинское заключение о болезни и смерти И. В. Сталина, сообщение комиссии по организации похорон. Гроб с телом Сталина установили в Колонном зале Дома союзов. Председателем комиссии по организации похорон назначили Хрущева Н. С., в нее вошли Каганович Л. М.,

Шверник Н. М., Василевский А. М., Пегов Н. М., Артемьев Н. А., Яснов М. А.

Хрущев возглавил комиссию по похоронам, но это вовсе не означало, что ему предстоит занять первый пост в партии. Гроб у изголовья несли Маленков и Берия. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов и Берия. Все эти протокольные тонкости говорили о расстановке сил. Явно обозначился триумвират — Маленков, Берия, Молотов.

В день похорон, 9 марта, на мраморном фронтоне Мавзолея Ленина появилось еще одно имя: Сталин.

Медленно уходил траур. Дело было даже не в том, что боль утраты испытывали миллионы людей. Определяло атмосферу всеобщее беспокойство, чувство незащищенности, своего рода сиротства. Для большинства с именем Сталина связывалось особое место нашего государства на мировой арене, уверенность в преодолении трудностей, препятствий, бед. «Он все сможет, найдет единственно верное решение». Так привыкли считать, так думали, таким утвердился феномен этой личности — выше бога, ближе отца и матери, единственный в своем роде.

Смерть Сталина не могла не поставить перед его преемниками вопроса о том, как жить и действовать дальше. Никита Сергеевич вспоминал, что в последние годы (может быть, месяцы жизни) Сталин говаривал: «Останетесь без меня — погибнете… Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Почему Хрущев вспомнил эти слова, что стояло за ними? Предупреждал ли кого-то Сталин или в какие-то минуты реальнее представлял истинное положение дел в стране и, оглядывая свой жизненный путь, в чем-то раскаивался?.. В отчуждении к детям, в том, что после самоубийства жены он не пощадил даже тех ее родственников, к которым когда-то питал симпатию. Отчего он говорил: «Погибнете»?

Любые размышления тут могут строиться лишь на догадках. Многое в жизни Сталина было окружено тайной.

Берия

…В июле 1953 года я был далеко от дома, в Шанхае — комсомольская делегация участвовала в работе съезда Народно-Демократического Союза молодежи Китая, а затем поехала по стране. В ту пору наши отношения ничем не были омрачены. Песня «Москва — Пекин» звучала повсюду с неподдельным энтузиазмом. Последняя ночь в Шанхае выдалась тревожной. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. Сбивчиво, как бы с извинениями, хозяева сообщали о передаче японского радио: танки на улицах Москвы, идут аресты, говорят, что убит в перестрелке Берия. Утром мы связались с советским посольством в Пекине. Посол Василий Васильевич Кузнецов успокоил, сказал, что поездку по стране надо продолжать и что при встрече даст разъяснения. В тот же день румынские друзья, наводившие справки в своем посольстве, сообщили, что об отмене Бухарестского фестиваля молодежи и студентов речи нет, он состоится вовремя, в августе. Уже в Шанхае нам стало известно, что Берия арестован и что танки действительно стояли на некоторых улицах и площадях Москвы. О том, как и что происходило, я узнал только вернувшись из Китая…

Несколько раз я видел Берия вблизи. Слышал его выступление на торжественном заседании, посвященном 34-й годовщине Октябрьской революции. Говорил он хорошо, почти без акцента, четко и властно. Умело держал паузы, вскидывал голову, дожидаясь аплодисментов. Доклад ему составили нестандартно.

Внешне Берия — располневший, с одутловатым обрюзгшим лицом — был похож на рядового «совслужащего» 30-х годов. Шляпа обвислыми полями налезал на уши, плащ или пальто сидели на нем мешковато. Но за ординарной внешностью скрывалась натура беспринципная, хитрая и безжалостная. Берия боялись все, и было отчего. Случилось в ту пору в моей жизни несколько странных событий, значение которых я понял позже. Моя мать шила платья жене Берия. Нина Теймуразовна, агрохимик, кандидат наук, ценила талант и деловитость матери, отсутствие навязчивой услужливости. Как-то Нина Теймуразовна обронила с ноткой сожаления: «Зачем Алеша вошел в семью Хрущева?» Мать расстроилась. Мы Радой только что поженились и были, конечно, обескуражены; тем более что из МГБ Никите Сергеевичу передали анонимку — в ней описывалась наша «болтовня» по поводу «красивой жизни» в семье Хрущевых. Никита Сергеевич дал нам прочесть анонимку, но не

комментировал ее.

Два наших приятеля-однокурсника были однажды на даче Хрущева. Казалось диким, но сочинить эту несусветную чепуху могли вроде бы только они. В анонимке приводились подробности обстановки, детали семейных взаимоотношений, о которых никто другой знать не мог. Через много лет Никита Сергеевич рассказал, каким образом эта анонимка попала в папку «семья Хрущева». Мы с матерью тогда жили в коммунальной квартире. К нашей соседке, муж которой был арестован в 1937 году, пришел некий гражданин. Он и продиктовал донос, предупредив, чтобы женщина не болтала, если не хочет разделить судьбу мужа.

«Под колпаком» были не только квартиры, дома и семьи высших руководителей партии, правительства, вообще всех, кто интересовал Берия, но и служебные кабинеты. Однажды ночью в приемной МК партии появились высокие чины из ведомства Берия и потребовали от дежурившего секретаря В. Пивоварова ключи от кабинета Хрущева. На вопрос, с какой целью, грубо ответили, что необходимо проверить надежность сейфов и телефонных аппаратов, добавив, что секретарь не имеет права интересоваться подробностями их обязанностей — не его дело. Пивоваров наотрез отказался впустить ночных посетителей в кабинет, пригрозил вызвать хозяина. И хотя на него обрушился поток ругани, кабинет он не открыл.

Удивительное дело, но ночное происшествие не имело последствий. Пивоваров доложил о нем Хрущеву, а тот, видимо, решил смолчать.

* * *

После возвращения Никиты Сергеевича в 1949 году в Москву Берия стремился сблизиться с Хрущевым, завоевать его расположение. Случалось, поздней ночью поджидал его на шоссе по дороге на дачу, чтобы побеседовать. Если я возвращался с Никитой Сергеевичем, то приходилось пересаживаться в машину грозного человека. Усатый шофер даже головы не поворачивал в мою сторону. Сидел неподвижно, как сфинкс, и казалось, машина движется сама по себе. Пассажиры первой машины беседовали. Мне оставалось разглядывать стволы берез, мелькавших по обочинам Успенского шоссе. Березовые рощи в том районе Подмосковья — такие фотогеничные, их много раз снимали в разных фильмах… Однажды я не выдержал и спросил шофера, можно ли закурить. Он не удостоил меня ответом, но как-то

выразил запрещение. Может быть, движением офицерского погона с майорской звездочкой? И в самом деле, грешно было курить в автомобиле, пахнувшем свежей кожей.

По рассказам Хрущева, в дни, когда мучительно умирал Сталин, Берия перестал сдерживать свои истинные чувства. Злобно ругал Сталина, никого не стесняясь, а когда тот на миг приходил в сознание, бросался к нему, целовал руки, лебезил. Едва наступил конец, Берия, не подойдя даже к плачущей дочери умершего, тут же умчался из Волынского, чтобы первым оповестить друзей и приспешников. «Я сказал тогда Булганину, — говорил Никита Сергеевич, — как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас, он все начнет по новому кругу…»

Берия давно уже заигрывал с теми, кого считал нужным нейтрализовать, усыплял бдительность тех, кто относился настороженно к его персоне, ставил на руководящие должности в органах внутренних дел своих людей, начал вмешиваться в дела обкомов партии, покрикивать на тех секретарей, которые требовали указаний ЦК и не хотели подчиняться распоряжениям бериевского аппарата. Первый секретарь Львовского обкома партии Зиновий Тимофеевич Сердюк доложил Хрущеву, что в ответ на его, Сердюка, возражения Берия крикнул в телефонную трубку: «Да я тебя в лагерную пыль сотру!»

Хитрый ход придумал Берия с амнистией после смерти Сталина. Она касалась больших групп заключенных. Берия беспокоило, что он уже не властен автоматически продлевать сроки заключения тем, кто был отправлен в лагери в годы массовых репрессий и свое отбыл. Они возвращались по домам и требовали восстановления справедливости. А Берия было крайне необходимо вновь отправить в ссылку неугодных, задержать оставшихся там. Тогда-то и начали выпускать уголовников и рецидивистов. Они тут же принялись за старое. Недовольство и нестабильность могли дать Берия шанс вернуться к прежни методам.

Нина Петровна как-то рассказывала о поездке Хрущева летом 1952 года на Кавказ. Отдыхал там и Берия. Он, конечно, приехал к Хрущеву. Пригласил посмотреть Абхазию. Поднялись на перевал, устроили завтрак на смотровой площадке неподалеку от Сухуми. Синее море, золотая долина внизу. Берия раскинул руки и проговорил: «Какой простор, Никита. Давай построим здесь наши дома, будем дышать горным воздухом, проживем сто лет, как старики в этой долине». Никита Сергеевич спросил: «А стариков куда денем?» Спросил как бы вскользь, без упрека. Берия тут же, не задумываясь, ответил: «А переселим куда-нибудь…»

Проверял ли Берия настроения Хрущева? Или хотел в свой срок обвинить в безнравственности, настроить против него абхазцев? Нина Петровна рассказывала, что Никита Сергеевич вернулся домой взбешенный.

* * *

На чем основано мое убеждение в том, что именно Хрущев принял твердое решение обезвредить Берия, не дать ему возможности захватить власть? Не только на рассказах самого Никиты Сергеевича, который, когда эти тревожные недели миновали, не раз вспоминал, что и как происходило; хотя это и важное свидетельство. Не могли не видеть близкие, что перед самым арестом Берия Никита Сергеевич вдруг появлялся на даче в разгар рабочего дня и к нему в разные часы приезжали Молотов, Ворошилов, Маленков, Булганин, Микоян. Обычно Никита Сергеевич надолго уходил с приехавшим товарищем к реке.

Рассказывал Хрущев и о реакции на его предложение.

Все высказывались за арест. Важно было согласие Маленкова и Молотова — позиция первого беспокоила Никиту Сергеевича. За многие годы Маленков и Берия притерлись друг к другу. Но Маленков был тверд, сказал, что объявит на заседании Президиума ЦК об аресте Берия. Никита Сергеевич вспомнил, что, когда он начал разговор с Ворошиловым, тот поначалу стал расхваливать Берия. Когда же выслушал Никиту Сергеевича, расплакался. Он-де считал Хрущева чуть ли не другом Берия, видел, как тот обхаживает Никиту Сергеевича, и просто боялся за себя. Ворошилов готов был сам арестовать этого авантюриста.

Есть еще одно обстоятельство, которое важно своими последствиями. Хрущев после смерти Сталина не был избран Первым секретарем ЦК. Как член Президиума ЦК Хрущев возглавлял работу секретариата, однако в центре политического руководства страной стояли Маленков, Берия, Молотов. Они возглавляли и Совет Министров СССР.

К кому стремились старые коммунисты, большевики-ленинцы, вырвавшиеся из ссылок? Где, у кого рассчитывали найти понимание, поддержку, а главное, опору в своих убеждениях? У Маленкова, Молотова, которые работали рядом с Берия? Люди пробивались в ЦК. Там сосредоточивались чрезвычайно важные сведения, и Хрущев из первых уст узнавал подробности гибели многих коммунистов, в том числе и многих товарищей, которых знал лично.

Понимал, конечно, что может его ожидать при аресте Берия. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. Осведомители Берия могли проникнуть всюду. Хрущев пошел на более рискованный шаг. Еще по Украине он знал Серова, заместителя Берия. Видимо, объяснился и с ним. Серов сдержал слово, и бериевских сторонников в МГБ изолировали. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это делал, во всяком случае, важная часть рискованной операции была им выполнена.

Существенно было и то, что Никита Сергеевич получил полную поддержку армии.

На одном из заседаний Президиума ЦК, после того как Берия высказали все, что о нем думают, Маленков нажал кнопку звонка. Вошла группа военных. Маршал Жуков и генерал Москаленко объявили Берия, что он арестован. Берия рванул руку к портфелю, лежавшему на подоконнике. Хрущев выбил портфель, думал, что там оружие. Портфель оказался пустым.

Состоявшийся Пленум ЦК вывел Берия из своего состава, исключил из партии. Его лишили наград и званий, он стал подследственным. Охрана Берия, даже не увидела, как хозяина увезли в штаб Московского военного округа, где Берия под усиленной охраной должен был дожидаться суда и приговора. Танки вернулись в свои части.

Не только личную смелость проявили в те дни Хрущев и другие. Это — рубежный для нашей истории поворот…

Второй доклад Хрущева

В феврале 1956 года состоялся XX съезд партии. Шло обсуждение Отчетного доклада Центрального Комитета партии и Директив по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. С докладами выступили Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев и Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин.

Съезд близился к завершению, объявленная повестка дня была исчерпана. Журналисты знали, что на закрытых заседаниях предстоят выборы руководящих органов партии. Вечерами в «Комсомолку» забегали наши друзья — секретари ЦК и обкомов комсомола из многих республик. Так мы узнали, что отъезд делегатов почему-то задерживается. Все прояснилось, когда стало известно о втором, закрытом докладе Хрущева.

Он говорил о Сталине.

Хрущев напомнил малоизвестное в то время письмо Ленина, адресованное в декабре 1922 года XII съезду партии.

Владимир Ильич писал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью… Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде, в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно: более терпим, более лоялен, меньше капризности и т. д.»

Доклад Хрущева стал крупнейшим событием того времени. Съезд принял постановление о преодолении последствий культа личности Сталина: были реабилитированы тысячи невинно погибших, возвращено доброе имя оставшимся в живых. Миновали уже десятилетия с той поры, но и поныне мы ищем истоки трагических событий, сталинского произвола и преступлений. Вновь и вновь возвращаемся к письму Владимира Ильича, адресованному XII съезду партии. Так хочется верить, что то письмо Ленина, будь оно обнародовано, могло бы многое изменить и многое предотвратить. Напомню еще раз вовсе не бессмысленные слова Сталина: «Останетесь без меня, погибнете. Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Хрущев не раз повторял эти слова именно после XX съезда.

* * *

Что могло заставить Хрущева выйти на трибуну с докладом о Сталине? Чем объяснялась его решимость? Нелепо было бы утверждать, что Хрущев вовсе не знал о массовых репрессиях или не чувствовал себя виновным. Он сам говорил, что те, кто работал рядом со Сталиным, не могут снять с себя ответственности, но что она должна быть соразмерной. Нина Петровна обронила как-то фразу о том, что только после XX съезда Никита Сергеевич отдал начальнику своей охраны пистолет, который хранился в его спальне. Сам Хрущев редко делился подробностями о ночных сталинских обедах-заседаниях, но одной, как бы дежурной реплике Сталина придавал особое значение. Сталин мог вдруг, прервав застолье, спросить кого-либо из присутствовавших: «Что-то у вас сегодня глазки бегают?»

«Бегающие глазки» были плохим признаком. Вопрос этот и долгая пауза вслед обескураживали. В последние месяцы жизни Сталина на таком ближайшем «прицеле» вождя были Молотов, Микоян, Ворошилов. Что это значило, каков следующий шаг — им было прекрасно известно. Знал, конечно, это и Хрущев…

Никита Сергеевич много раз вспоминал ночь уже перед последним днем работы съезда — тогда он еще раз перечитал страницы доклада, и ему померещилось, что он слышит голоса погибших товарищей. Что творилось в его душе? Его, конечно, угнетала вина перед ними.

В то утро, когда Хрущев решился, я думаю, он не предполагал, какой сложной будет история решений XX съезда. Не знаю, так это было или нет, высказываю свою точку зрения, но доклад этот Хрущев сделал как бы неожиданно. Мог ли он задолго до съезда обсуждать доклад с членами Президиума ЦК, в особенности с теми, кто тоже должен был нести свою долю ответственности? Удалось бы ему произнести его в таком случае? Он принял решение апеллировать к партии, обратившись непосредственно к съезду.

Когда он объявил о своем решении, его стали пугать непредсказуемыми последствиями. Но чем сильнее противились Молотов, Маленков и Ворошилов, тем тверже становилось убеждение Хрущева: надо открыть все. Принять половинчатое решение, осуждающее культ личности Сталина, и не вдаваться в подробности массовых репрессий, с его точки зрения, означало обман партии. Он предложил Молотову выступить с докладом. Тот отказался. Никита Сергеевич предупредил, что не изменит решения и выступит с докладом в качестве делегата съезда. Не остановило его и то, что он ставил под удар и себя — ведь он

тоже был рядом со Сталиным. Он сказал, что лгать и изворачиваться не будет. «Придут молодые, спросят: почему смолчали? Что ответим им мы? Как они отнесутся к нам? Спасали свои шкуры, не хотели ответственности? Не жгла боль за гибель товарищей?!»

Так вспоминал Хрущев тот день своей жизни…

* * *

XX съезд входил в жизнь. Из жизни общества уходили имитация чувств, страх.

Хрущев о себе самом сказал: «Боялся!»

Страх испытывали все. Вспомните маршала Жукова. В книге воспоминаний он уже писал об этом. Те, кто был особенно близок к вождю, хорошо знали, какую цену приходится платить за эту близость. Иначе не объяснить унизительных, трагических ситуаций в их судьбах.

Как понять Молотова, с его исключительной верностью всему сталинскому, как оценить его человеческие чувства, если он терпел арест и пребывание в одиночке собственной жены? Он что, верил в виновность Полины Семеновны и спокойно дожидался, пока Берия доложит Сталину о ее прегрешениях?

А каково было Михаилу Ивановичу Калинину, жена которого много лет провела на каторжных работах, а он ничего не мог сделать для облегчения ее участи?

Екатерину Ивановну арестовали в 1937 году, а выпустили по амнистии (!) в 1945-м, когда Михаил Иванович был уже тяжело болен. Выпустили, но не разрешили жить на кремлевской квартире, предложили переехать на другую. Можно представить душевное состояние Екатерины Ивановны, когда ей пришлось идти за гробом Михаила Ивановича рядом со Сталиным, Маленковым, Берия.

Я был знаком с Екатериной Ивановной: в 60-е годы она приходила в редакцию «Известий», просила помочь в организации музея Михаила Ивановича, но никогда не говорила о пережитом.

По-иному вела себя Полина Семеновна Молотова. После выхода из тюрьмы встретила как-то меня с женой на улице Грановского. Громко, с вызовом прославляла Сталина. Трудно было поверить в ее искренность. Видно, и после смерти вождя в ней крепко держался запас страха. И таких, как она, было немало…

Жену Молотова Полину Семеновну Жемчужину арестовали 1 января 1949 года. Причина ее ареста, как тогда говорили,

связывалась с деятельностью Еврейского антифашистского комитета, организованного во время войны. Через этот комитет собирали большие средства в помощь Красной Армии. После войны деятельность комитета стала раздражать Сталина. Началась кампания против «космополитов». Жемчужина оказалась за решеткой, как и многие другие лица еврейской национальности…

К Жемчужиной подбирались задолго до ареста. Дочь известного врача Александры Юлиановны Каннель — Дина, арестованная после смерти матери в 1939 году, расскажет об этом.

Александра Юлиановна в 20 — 30-х годах была лечащим врачом многих семей видных деятелей партии, ее хорошо знали Мария Ильинична Ульянова, Надежда Константиновна Крупская. В 1932 году А. Ю. Канель отказалась подписать фальсифицированное сообщение о причине смерти Надежды Сергеевны Аллилуевой от приступа аппендицита. Со слов Жемчужиной она знала, что Аллилуева покончила самоубийством. Сталин не простил «упрямства» Канель — забрали ее дочерей.

Пройдя через тюрьмы и лагеря, Дина Канель расскажет, в чем обвиняли ее мать:

«В том, что она работала сразу на три европейские разведки: на немецкую, французскую и польскую (возила Каменеву в Берлин, Калинину в Париж, а в Варшаву заезжала к сестре, вышедшей замуж за поляка еще до революции!). Канель была вместе с Жемчужиной за границей, и, конечно, не случайно: Жемчужина была связана с Канель шпионской работой, а лечение — это просто маскировка! Они встречались там, в Европе, с работниками иностранных разведок, передавали шпионские сведения, получали задания. На имя Канель в банке лежала крупная сумма денег, переведенная этими разведками. Канель вовлекла в шпионскую работу и дочерей — Дину и Лялю, и после ее смерти Ляля с мужем ездила за границу специально для того, чтобы поддерживать шпионские связи, налаженные матерью. А в организации этой поездки им помогала Жемчужина! В квартире Канель, на Мамоновском, встречались оппозиционно настроенные к Советской власти люди, там велись антисоветские разговоры. И помимо этого на Мамоновском был «дом свиданий», и Жемчужина приезжала туда со своими любовниками, она вела развратный образ жизни, и Александра Юлиановна покрывала ее».

Эти факты приводит в своей книге «Скрещение судеб» известный критик Мария Белкина. Она пишет о последних годах

жизни Марины Цветаевой и ее детей. Ариадна Сергеевна Эфрон — дочь Цветаевой, отбывшая в ссылках 16 лет, встретилась с сестрами Канель в тюремных камерах.

Привожу эти свидетельства не для нагнетания ужасов из «того», сталинского, времени; у меня в семье как раз не было ни арестованных, ни казненных, но я не могу спокойно слушать исповедь человека, прошедшего все круги ада. Мои дети, выросшие в доме более чем благополучном, сохранили искреннее уважение и любовь к своему деду Никите Сергеевичу Хрущеву еще и потому, что он вошел в их сознание человеком, освободившим миллионы людей от унижений, участи врагов народа…

Зигзаги Хрущева

XX съезд придал ускорение такому множеству дел, привел в движение такие разные структуры общественной жизни, что было бы наивным предполагать, что кто-то один может не то что проанализировать, но просто все вспомнить. Осенью 1987 года я прочитал в «Огоньке» любопытное эссе критика Сергея Чупринина. Он напомнил, что всего за несколько послесъездовских лет только в Москве были созданы или возобновлены журналы «Юность», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Театр», «Вопросы литературы», «Иностранная литература», еженедельник «Литература и жизнь» (позднее переименованный в «Литературную Россию»), проведен учредительный съезд Союза писателей РСФСР. Возникли в различных регионах страны литературно-художественные и общественно-политические журналы «Нева», «Север», «Дон», «Подъем», «Волга», «Урал». А как восторженно, в каких спорах были восприняты первые сборники «Дней поэзии», как сама поэзия взорвала тишину и вырвалась на улицы и стадионы!

Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Юлия Друнина, Евгений Винокуров, Новелла Матвеева, Давид Самойлов… А проза? Остановлюсь, ибо перечень был бы велик, неполон и субъективен.

Спустя почти тридцать лет напомнил я Андрею Вознесенскому его спор с академиком Петром Александровичем Ребиндером. Дело было в редакции «Известий». Андрей читал новые стихи, в том числе и «Антимиры». Вдруг негодующая тирада академика: «Молодой человек! У вас в стихах все неправильно. Какая отметка была у вас по физике?» И язвительный академик начал критиковать «Антимиры» за «несоответствие» законам физики. «Нельзя же так буквально», — кипятился Андрей. «Нет, именно буквально и надо», — настаивал Ребиндер. Петр Александрович не лишен был юношеской запальчивости, азарта в спорте, любил поэзию, но не мог простить поэту неточностей.

Всех примирил чай. Мы пили его из большого медного самовара, отысканного репортерами отдела информации невесть где, и ели горячие бублики — главное угощение на встречах с друзьями газеты. Эти встречи стали регулярными. Во многих редакциях рождались, возобновлялись, активизировались «четверги», «пятницы», «субботы». Люди соскучились по общению,

соскучились по возможности говорить громко обо всем, что тревожило.

* * *

Многие из нас не заметили, как начался отлив, как вновь в нашей жизни стали появляться те самые «установления», от которых мы вроде бы навсегда освободились. С высоты прожитых лет все заметнее.

Перед самым новым, 1963 годом в «Известия» позвонила Ирина Александровна Антонова, директор Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В музее готовилась к открытию большая выставка работ французского художника Фернана Леже. Подобные выставки в ту пору бывали не так часто, как теперь, контакты только-только налаживались. Вернисаж, естественно, вызвал повышенный интерес и внимание. Интерес и внимание! Ирина Александровна, человек опытный, хорошо понимала разницу этих слов.

Выставку привезла жена художника, Надя Леже, большой друг нашей страны, хранительница работ Леже во Франции, в Ницце, где ее стараниями создан прекрасный музей. Надя Леже непременно приглашала к себе советских гостей, посещавших этот город. Женщина энергичная, она не просто хранила память о близком человеке, но и умело пропагандировала его творчество. Я бывал в этом музее и, хотя не считаю себя знатоком живописи, восхищался фантастической зрелищностью многих работ Леже, его художническим азартом, необычным видением мира.

И вдруг звонок Ирины Александровны и дружеская просьба приехать для консультации и, возможно, помощи. Ирину Александровну беспокоили некоторые абстрактные полотна Леже. Только что в Манеже Хрущев разнес своих абстракционистов, а тут еще и француз с его непонятными полотнами. Мы проходили зал за залом, я, выступая в роли судьи-инквизитора, поскольку присутствовал на экзекуции в Манеже, отвечал на вопросы Антоновой: «Как это полотно?», «А этот гобелен?» При всей серьезности ситуации в нашей озабоченности было что-то нелепое. Недаром говорится, что от трагического до смешного — один шаг. Не хотелось ни Ирине Александровне, ни мне доставлять таким шагом радость искусствоведам особого рода. Что-то решили упрятать в боковые отсеки, что-то убрать. Однако изъять все «опасное» из ретроспективной выставки Леже было просто немыслимо, как немыслимо было и отменить ее.

Сложность состояла и в том, что Надя Леже уже побывала в

музее, предстояло объяснить ей причины изменения экспозиции. Как объяснить? Рассказать о выражениях, какими поносили московских абстракционистов в Манеже? Сомнительный аргумент — Надя хорошо говорила по-русски, могла и сама опереться в споре на непарламентские выражения. В Москве для нее начальников не было.

Я понимал, как противна Ирине Александровне, умной, образованной женщине, блестящему искусствоведу, смелому организатору выставочного дела, вся эта возня, но что поделаешь? Ведь не предложишь Хрущеву прослушать лекции по истории искусств. Уповать на поддержку тех, кто по роду своей деятельности мог бы спокойно разъяснить, что к чему, не приходилось. Президент Академии художеств Серов только что в Манеже продемонстрировал свою точку зрения. Можно было твердо рассчитывать, что ни Хрущев, ни Суслов на выставку не пожалуют. Но вот другие…

Екатерина Алексеевна Фурцева, в ту пору она была министром культуры СССР, тоже беспокоилась. Вдруг на новогоднем приеме в Кремле мадам Леже со свойственным ей темпераментом заведет разговор на тему об искусстве с «самим» Хрущевым? Возможен скандал. Решено было предложить Наде Леже встретить Новый год в домашней обстановке, чтобы избежать официальной скуки. Чем не военная операция? Нашлись острословы, реакция которых на все эти события выразилась в эпиграмме: «С этой выставкой Леже как бы не было хуже, как бы не было хуже, если б не было уже».

* * *

В культурной жизни нарастала напряженность. С трудом пробился на экраны фильм «Председатель», а картина «Застава Ильича» одной из первых подверглась разносу и легла на полку. Не иссякла, правда, надежда на то, что все это временно. В литературе, искусстве, театре, кинематографе споры, однако, обострялись, от письменных столов перекинулись на трибуны. Кто-то принимал повесть Эренбурга «Оттепель», кто-то ее хулил, кому-то нравился роман Дудинцева «Не хлебом единым», иные обвиняли автора в посягательстве на основы. Все более четко вырисовывались пристрастия. Разговоры о консолидации ни к чему уже не приводили. Не скажешь, чтобы ситуация эта сложилась неожиданно, ее истоки все там же — в решениях XX съезда. Понимал ли сам Хрущев, как неоднозначно приняли этот съезд литераторы? Думаю, что понимал.

Летом 1957 года состоялась первая встреча партийного руководства с деятелями культуры, затем вторая, третья.

Хорошо помню первую. Ее устроили на дальней сталинской даче под Москвой — в Семеновском. Встреча была задумана Хрущевым как пикник. Гости катались на лодках, на тенистых полянах их ждали сервированные столики отнюдь не только с прохладительными напитками. Обед проходил под шатрами. Легкий летний дождь, запахи трав и вкусной еды — все должно было располагать к дружеской беседе. Но шла она довольно остро. Выступали многие известные писатели, актеры, музыканты, художники. У каждого была своя боль.

Слово взял Константин Симонов. Едва он начал, Хрущев перебил его, сказал примерно следующее: «Когда я встретил вас в Сталинграде, в самую отчаянную пору сражения, вы показались мне более храбрым человеком, чем теперь. После XX съезда голос писателя Симонова звучит как-то невнятно».

Симонов ответил: «Никита Сергеевич! Даже автомобилисту, чтобы дать задний ход, необходимо выжать педаль сцепления и на какое-то время перевести рычаг в нейтральное положение. Думаю, что многим из нас потребуется известное время на раздумье».

В посмертно опубликованных записках Симонова «Глазами человека моего поколения» писатель честно пишет о нелегкой для себя поре переосмыслений. Симонов в ту пору даже уехал из Москвы в Узбекистан, вновь стал газетчиком — корреспондентом «Правды», хотел подумать…

Да, были смельчаки и герои, кто принял крушение сталинщины как требование к очищению. А те, кто был близок к Сталину, как Фадеев, многие годы руководивший Союзом писателей СССР?

Как-то вечером в квартире Хрущева раздался телефонный звонок. Он несколько минут разговаривал, а потом, выйдя в столовую, сказал: «Застрелился Фадеев. Вот ведь как резануло человека»…

Хрущев выступал на Втором съезде писателей, встречался с художниками перед их съездом и был на этом съезде, принимал многих деятелей культуры, литературы, в частности Александра Трифоновича Твардовского. С ним у Хрущева был долгий разговор. Твардовский, конечно, говорил Хрущеву правду. Обо всем, в том числе о 30-х годах, о том, как шло раскулачивание. Вспомните поэму Александра Трифоновича об отце. Хрущев относился к Твардовскому с большим уважением, любил его стихи. В августе 1963 года Александр Трифонович читал Хрущеву поэму «Теркин на том свете». Прозвучали последние строки.

Хрущев обратился к газетчикам: «Ну, кто смелый, кто напечатает?» Пауза затягивалась, и я не выдержал: «Известия» берут с охотой». Поэма была опубликована. С разрешения Александра Трифоновича я предпослал ей небольшое вступление. Нисколько не хотел я таким способом приобщиться к славе великого поэта. Мне казалось тогда важным не только опубликовать поэму, но и рассказать о том, кто и где ее слушал, как отнеслись к новой работе поэта, как решилась ее судьба.

* * *

Казалось, едкая и горькая сатира на Сталина и сталинщину, на наши непробиваемые даже на «том свете» узколобые установления, прозвучавшая с блестящей силой, поддержит дух литературного свободомыслия. Но все чаще такие порывы гасились.

С годами давление на Хрущева разного рода советчиков «по культурным вопросам» усиливалось, он часто становился раздражительным, необъективным. В пору, когда я работал в «Известиях», мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению. Так случилось и с книгой И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Публикация критической статьи В. В. Ермилова по поводу воспоминаний Эренбурга была предопределена без нас. И в целом ситуация была зыбкой. Сняли нелепые обвинения с Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, начали публиковаться Ахматова и Зощенко, вернулись в литературу и искусство многие славные имена. Правда, далеко не все. Очистительный процесс шел, повторяю, отнюдь не безболезненно. Хрущев все в большей степени оставлял за собой право давать резкие и однозначные оценки тем или иным произведениям. К сожалению, это право не всегда сочеталось с широтой взглядов, образованностью, эрудицией, доверием и желанием выслушать тех, кто может дать вдумчивый совет. Уже на пенсии Никита Сергеевич часто говорил о мере терпимости…

Хрущев нередко укорял Суслова за упущения в идеологической работе, за серость и мещанство в кино, в театре. Суслов напрягался, нервничал и переводил замечания в привычное русло: одернуть! Исполнители поручений закручивали гайки. Сталкивались мнения, страсти, предположения, выяснялось, что было сказано и кем в схожей ситуации. Бывали и неожиданности: вдруг что-то прорывалось, вспыхивали надежды, прогрессисты активизировались, но при очередной «накачке» затихали. На одном из заседаний Симонов, академик Кириллин и

я начали уговаривать Поликарпова — он ведал вопросами культуры в ЦК — попробовать «пробить» в свет роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Поликарпов взорвался: «Да знаете ли вы, кто возражает?..» Никакие доводы не действовали. Поликарпов сам, быть может, и считал нужным опубликовать роман, но привычное: «как бы чего не вышло» — делало его непреклонным. И все-таки время работало на тех, кто развивал в общественном самосознании демократические начала, кто боролся за утверждение в нашей жизни идеалов XX съезда. Я говорю прежде всего о молодых поэтах, писателях, кинематографистах, актерах и режиссерах, о людях, которых знал лично. Они «поймали» в своих произведениях нерв времени, утверждали себя и свое понимание нравственности широко и активно. На фоне этого обновления потускнели иные знаменитости. Их стали читать меньше, хвалить реже, критиковать жестче. Сложное было время. Неприязнь друг к другу не камуфлировалась, ибо была предварена жестокими обстоятельствами только что ушедших лет. Вспомним кампанию по борьбе с космополитизмом, оголтелую безнравственность, с которой действовали ее активисты.

Бесконфликтность, лжепатриотизм, безапелляционность, чиновничьи приоритеты уходили из литературы, искусства тяжело и надсадно, и те, кто так или иначе должен был уступить дорогу, занять иное место, а может быть, и вовсе уйти, пускали в ход все мыслимые и немыслимые способы удержания высот. Любой промах возводился в принцип, любое слово ставилось в строку. К сожалению, и многим молодым литературным звездам того времени не хватало взвешенного взгляда на совокупность событий «внутри» и «вовне». Их упоение успехом, убежденность в своей абсолютной правоте оборачивались просчетами. Оказалось, что не так просто развеять прах прошлого. Самое печальное состояло в том, что азарт нетерпения, некоторые — по-своему объяснимые — перехлесты давали повод тем, кто всегда четко отмерял свои поступки, кто «не выходил из берегов», не рисковал, не дерзил, грозить назидательно пальцем: «Вот ведь куда их заносит, вот ведь на что они поднимают руку — на святая святых!» А там уже разрешать спор начинали те, кто имел право и власть…

* * *

Недавно я прочел, что роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был «арестован» в 1961 году и Гроссман написал

Хрущеву. Тогда я ничего не знал об этом. Думаю, что Хрущев не читал письма либо не вник в его суть. Как пишут очевидцы, объяснение по поводу романа у Гроссмана было с Сусловым. Он заявил, что книга не увидит свет и через двести пятьдесят лет.

В 1988 году, как известно, роман опубликовали.

Могло ли это случиться раньше? Что изменилось бы в его судьбе, прояви Хрущев больше внимания к работе Василия Гроссмана? Думаю, что Никита Сергеевич не смог бы постичь всю сложность этого романа, не смог бы принять его. Постижение романа требует не только интуиции. Вполне возможно, что Хрущев был бы (или был?) солидарен с Сусловым.

Спрашиваю себя: если мне пришлось бы решать судьбу книги Гроссмана в то время, как бы я поступил? Должен честно признаться: не предложил бы ее к публикации. Я был потрясен, прочитав книгу в 1988 году, долго не мог прийти в себя от внутреннего озноба — ум еще противился, не хотел соглашаться с тем, как связана и к чему ведет логика романа, будто он написал не о нас, не о нашем мире. Только постепенно собственная ущербность уходила, и я уже не мог оторваться от страниц.

Позвонил своему университетскому товарищу критику Анатолию Бочарову. В журнале «Октябрь», где печатался роман, было опубликовано его эссе. Одним из первых Бочаров назвал роман Гроссмана народной драмой, «Войной и миром» XX столетия.

Становилось понятно, почему нас «отлучали» от таких книг. Ортодоксальное видение мира, сужая горизонт, утверждало в людях духовное убожество. Оно было нашей судьбой и бедой, в том смысле, что избавляло от чувства духовной неполноценности. Все в нас самих и вокруг казалось самым лучшим, в том числе и литература. Она вполне обходилась без писателя Гроссмана и десятков других, подобных…

В пенсионные годы Никита Сергеевич прочитал «Доктора Живаго» Пастернака. Книга не понравилась ему, показалась скучной. Сложная вязь повествования, герои, чуждые по духу и биографиям. Многое, как он говорил, показалось несущественным, не входившим в круг его устремлений. Но тогда же он пожалел, что роман этот не был напечатан, и с какой-то грустью признался: «Ничего бы не случилось…»

Это позднее признание показательно. Оно выражает взгляды Никиты Сергеевича не только на литературные процессы и взаимоотношения деятелей искусства с руководством в пору его пенсионных раздумий, но и на «технологию» обострений, случавшихся в то время, когда был у власти. Отчего произошел взрыв ярости «первого лица», когда он узнал о присуждении

Пастернаку Нобелевской премии? Этот взрыв диктовался отнюдь не литературными соображениями. В этих вопросах Хрущев не был силен. Общественная ценность литературы связывалась в его сознании с непременной подчиненностью писателя задачам дня, курсу политического и социально-культурного развития общества. А кто же в таком случае судья? Кто определяет социальный заказ деятелю искусств? В широком смысле слова: народ. А практически — партия, то есть на каждый данный момент партийное руководство, а еще точнее — партийный аппарат.

Какое-то время Хрущев силился отгонять от себя мысли о безупречности собственных суждений, однако сдерживающих факторов было явно недостаточно. Он был типичным партийным руководителем той эпохи. Чем более его втягивали в лабиринты командно-административной Системы, от которой он хотел уйти, тем сильнее в нем действовал инстинкт своеволия, безапелляционности. Он считал себя вправе судить обо всем, в том числе об искусстве и литературе без всяких оговорок.

В конце лета 1950 года случилось такое событие. Хрущев прогуливался по парку на даче. Я шел рядом с ним. Вдруг на одной из берез зазвонил телефонный аппарат. Такие аппараты были прикреплены ко многим деревьям в парке, дабы Сталин мог быстро связаться с нужным ему лицом. Я снял трубку. «Мне Микиту», — послышался глуховатый голос вождя. Хрущев взял трубку. Я отошел в сторонку, чтобы не мешать разговору. Хрущев выслушал какие-то вопросы. Пошел по дорожке снова. Через минуту спросил: «Читали роман Галины Николаевой «Жатва»? Я ответил утвердительно. «Положите книгу мне на стол», — сказал Никита Сергеевич. Ничего больше не прибавил.

Потом мне стало известно, что Сталин интересовался мнением Хрущева о том, все ли в этой книге «правильно» с точки зрения изображения сельской жизни в послевоенные годы. Тут Сталин, по-видимому, больше полагался на Хрущева, чем на писательницу. Вскоре, в 1951 году, роман Галины Николаевой удостоили Сталинской премии. Хрущев подтвердил высокий выбор вождя. Вот и привыкал Никита Сергеевич к такому подходу: «правильно» — «неправильно», нужно — не нужно. Все остальное — художественные достоинства, боль и гнев художника, его сомнения и поиски — все за гранью, от лукавого, от интеллигентских метаний. Интеллигенция, в особенности занимавшаяся гуманитарными проблемами, всегда была под подозрением, и неприязненное отношение к ней весьма культивировалось.

* * *

Невозможно было успокоить Хрущева и что-то объяснить ему, если то или иное произведение литературы получало высокую оценку на Западе, за границей. Тут Хрущев непременно искал подвох. Пастернака награждают Нобелевской премией? Значит, делают это в пику нашей стране, в пику ему, Хрущеву. Если он не проявит гнева, значит, не продемонстрирует партийной принципиальности. Он, Хрущев, вынужден ведь был оглядываться по сторонам, видеть настроения своих коллег, улавливать настроение аппарата. До него доходили сведения о том, что его считают чересчур либеральным, а либерализм ведет к расшатыванию устоев. Я хорошо знал иезуитскую механику создания подобных настроений и слухов, она выстраивалась по очень сложным схемам. Тут воздействовали на Хрущева и военные, например маршал Чуйков, наговаривавший Никите Сергеевичу множество «жутких» историй о проникновении в нашу идеологию враждебных настроений, и кое-кто из-за границы. Особенно усердствовал Вальтер Ульбрихт — тот тоже запугивал Хрущева. Из Москвы, дескать, доносится тлетворное буржуазное влияние.

Летом 1964 года во время визита Хрущева в Швецию премьер-министр Эрландер заговорил с ним о намерении наградить академика П. Л. Капицу, блестящего советского физика, золотой медалью Шведской академии. Никита Сергеевич воспринял разговор очень нервно. Он прямо сказал Эрландеру, что Советское правительство может воспринять это известие как вызов. «Почему?» — удивился Эрландер. «Многие у нас воспримут это как желание выделить физика, который отказался работать над атомным оружием, поступил непатриотично…»

Эрландер не стал переубеждать Хрущева, да и сделать это было невозможно. При всем том, что Хрущев отыскивал пути к спокойным отношениям между странами и народами, он не смог полностью разрушить сталинской установки недоверия к заграница. «Железный занавес» был поднят, но возле стояли очень бдительные товарищи. Смешно и грустно вспоминать, но замечательная балерина Майя Плисецкая выехала впервые за границу с личного разрешения Хрущева, под его поручительство. В этом случае Хрущев не отреагировал на «сигналы» тех, кто запугивал его возможными последствиями — что, если Плисецкая станет невозвращенкой? Такие вот проблемы решались на самом верху и не без борьбы.

В своих воспоминаниях Никита Сергеевич пишет о многих подобных историях: о выезде за границу пианистов С. Рихтера,

В. Ашкенази, о том, что он лично стоял за большие свободы на этот счет. Но вот что примечательно. Рассуждения о своих гуманных решениях он сопровождает такой фразой: «Я шел на большой риск и доказывал коллективу, с которым я работал, что без риска нельзя…» Вот это «доказывал» и «без риска нельзя» многое объясняет в позиции Хрущева, показывает атмосферу, которая тогда в стране существовала…

Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбурговское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего слушать, не принимал никаких возражений.

На выставке в Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХа, пояснения Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и некоторых других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности» (а точнее, чтобы «раздразнить», разъярить Хрущева). Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких грубых оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.

Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но, видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой XX съезда. Иных вполне устраивало «застойное» личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе: вот ведь, на меня топал ногами сам Хрущев!

Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И, с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после XX съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущева?

Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычайно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами, — легко ли сохранить чувство самоконтроля?..

Финал

Наступил апрель 1964 года. Отмечалось семидесятилетие Хрущева. Приветствие ЦК, фотографии в газетах и журналах, присвоение звания Героя Советского Союза. Торжественный обед в зале для приемов Кремлевского дворца съездов. К тому времени в начале Ленинградского проспекта на металлической конструкции уже красовался огромный портрет Хрущева во весь рост с поднятой в приветствии рукой. Не помню, но, по-видимому, понизу шла трафаретная фраза типа «Миру — мир».

Славословия в адрес Хрущева становились почти нормой. Было, пожалуй, только одно отличие: без прежних эпитетов — «великий», «мудрый», на «гениальный» не решались даже сверхподхалимы. Портреты появляются не сами по себе, а только по определенной команде. Вырабатывалась, укоренялась установка на возвеличение должности Первого секретаря и его имени. В газетах тоже шло непрестанное цитирование.

Не совестно ли прежде всего мне самому, в те годы редактору большой газеты, не сам ли я приветствовал отход от славословий, не может ли показаться, что я пишу об этом с желанием свалить вину на кого-то? Нет, я вины с себя не снимаю, конечно. Больше или меньше других грешили на этот счет «Известия» — не имеет принципиального значения. Важно иное. Я знаю тех, кто тщательно следил за публикациями и не прочь был обратить внимание на то, что в некоторых важных статьях отсутствовали надлежащие ссылки. Расценивалось это как непочтение, как своего рода политическое небрежение, а иногда и как фрондирование.

Едва не вошла в газетный и политический лексикон стереотипная фраза «в свете советов и указаний», но она зрела, «обкатывалась» и появилась, как известно, в определенный час.

Кстати, тот самый товарищ, который не прочь был отмечать отсутствие в статьях ссылок на высказывания Хрущева, сам чуть позже, в октябре 1964 года, с бухгалтерской точностью подсчитал, сколько раз в той или иной газете это имя упоминалось. И ставил, конечно, данное обстоятельство в вину редакторам. Редактору «Известий» прежде всего. Не называю этого человека только потому, что он сполна разделил судьбу тех перевертышей, страсть которых к политическим интригам привела их к поражению. Победители не ценят перебежчиков, даже если в них и возникает нужда. И еще: мне жаль этого человека. Его ценил Никита Сергеевич. Он занимал высокие посты и, наверное, мог бы по-иному распорядиться своей судьбой.

Чествование Хрущева не носило того официозного, парадного характера, как сталинский юбилей в Большом театре. Вместе с холодными, дежурными словами прозвучали искренние, идущие от сердца.

В тот апрель в Москве было тепло, сияло солнце; казалось, пора обновления природы придаст всем новые силы. Хрущев встречал семьдесят первый год своей жизни с оптимизмом. И уж он-то точно не предчувствовал беды, нависшей над его головой. Еще одно доказательство его политической чистоплотности: не любил интриг, не держал личный сыскной аппарат. На юбилее он был в приподнятом настроении, хотя было видно, конечно, что годы дают себя знать.

Из всего множества тостов, раздававшихся в тот вечер, я запомнил один, по сути, единственный в своем роде. Его не забыли ни моя жена, ни другие члены семьи Никиты Сергеевича. Нина Петровна и на следующий день так возмущалась, что, не удержавшись, позвонила произнесшему этот тост и сказала ему все, что она об этом думает.

Это был тост первого секретаря ЦК партии Украины Шелеста, который он закончил здравицей: «За вождя партии!»

Так о Хрущеве еще никто и никогда не говорил. Что-то зловещее, «сталинское» почудилось мне в этих словах. Видел, как некоторые, будто не заметив протянутого бокала Шелеста, не стали чокаться.

* * *

В октябре 1964 года Хрущев уехал отдыхать в Пицунду. Отпуск Хрущева носил условный характер. Он сразу же побывал в птицеводческом совхозе, принял японских, а затем пакистанских парламентариев, послал приветствие участникам XVIII Олимпийских игр в Японии, разговаривал по телефону с космонавтами В. Комаровым, К Феоктистовым, Б. Егоровым. Затем встретился с государственным министром Франции по вопросам ядерных исследований. Если учесть, что на все это ушло чуть больше недели, не скажешь, что Никита Сергеевич часто бывал на солнце, у моря или что в душу ему закрадывалось недоброе предчувствие. Меня часто спрашивают: неужели Хрущев не знал, что идет подготовка к его смещению? Отвечаю: знал. Знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет: надо снимать Хрущева. Улетая на Пицунду, сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова, что он там болтает? Что это за интриги? Когда вернусь, надо будет

все это выяснить». С тем и уехал. Не такой была его натура, чтобы принять всерьез странные вояжи и разговоры Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Г. Игнатова и тем более думать о том, что ведет их Игнатов не по своей инициативе.

А затем 13 октября последовал телефонный звонок, который сам Хрущев позже назвал «прямо истерическим». Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи с острейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов. Догадался ли Хрущев, в чем истинная причина вызова? Сын Никиты Сергеевича отдыхал вместе с отцом. Еще до отлета на Пицунду он рассказал отцу о разговоре с охранником Игнатова — Галюковым, который с высокой степенью ответственности раскрыл весь механизм заговора против Хрущева, назвал фамилии его активных участников. Этот человек шел на большой риск, но честность, уважение к Хрущеву превысили чувство страха. Микоян в Москве встречался с Галюковым. Сергей по поручению Анастаса Ивановича сделал запись этой беседы, но так и осталось неизвестным, заострил ли Микоян внимание Хрущева на всех этих странных событиях, придал ли им сам роковое значение?

Сергей, естественно, нервничал. Неожиданно он оказался в центре политических интриг, которым суждено было так переменить ход времени.

Ни отец, ни Микоян не посвящали его в свои беседы на Пицунде. Когда Хрущеву позвонили из Москвы, ему стало ясно, что сговор идет к финалу. Он выглядел, как рассказывал сын, усталым и безразличным. Произнес: «Я бороться не буду».

А Микоян? Он вылетел в Москву вместе с Хрущевым. Быть может, он тоже не собирался бороться, понял, что это безнадежно? Анастас Иванович защищал Никиту Сергеевича на заседании Президиума ЦК как мог и до конца.

Оба они, Хрущев и Микоян, были уже старыми людьми, и как знать, не иссяк ли запас пороха в их пороховницах.

Микоян недолго продержался на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 1965 году сам ушел в отставку. Какое-то время его терпели еще в качестве члена Президиума Верховного Совета, оставили кабинет в Кремле, приглашали на трибуну Мавзолея в дни праздников, а потом перестали заботиться о «декоруме». В юбилей 60-летия Октябрьской революции его даже не пригласили на торжественное заседание.

Через год, в 1978 году, А. И. Микоян скончался.

…На аэродроме в Москве Хрущева и Микояна встречал только председатель КГБ В. Е. Семичастный. Они сразу же

направились на заседание Президиума ЦК.

14 октября состоялся Пленум ЦК, на котором Хрущев не выступал. Сидел молча, опустив голову. Последние слова в адрес Хрущева произнес Брежнев. Не без пафоса закончил он короткое заседание, как бы резюмируя выступление Суслова. Вот, мол, Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущева при его жизни. Ну что ж, Брежнев был прав. С культом Хрущева покончили. Думаю, Хрущев никогда не согласился бы на ту роль, какую готовили теоретики застойного периода самому Брежневу…

Выйти на открытый спор с Хрущевым, провести демократичный Пленум ЦК, высказать критические замечания, потребовать смещения «Первого» перед лицом партии и народа заварившие кашу не посмели, испугались. И тогда самым надежным вариантом оказался тот знакомый уже сценарий, по которому действовали в 1957 году. С той разницей, что тогда в партии хорошо знали, как и что происходило наверху, за что идет сражение.

Пленум, освобождавший Хрущева, обошелся без единого выступающего. Подал реплику член ЦК Лесечко, в чем-то обвинял Хрущева. Его, по сути, не слушали. Все решилось за день до Пленума. А Пленум молча выслушал короткое выступление Суслова, отметившего, что в последние годы с Хрущевым стало трудно работать, что «культ Хрущева» мешает коллегиальному руководству, и, не вдаваясь в подробности, лишил Хрущева всех его постов.

В ту пору мне часто говорили, что о готовившемся смещении Хрущева было известно «всей Москве» летом, и странно, что я не слышал об этом. Наверное, все-таки не знали и не слышали многие. Хрущев верил в незыблемость своего авторитета, а скорее всего, в неспособность тех, кто был возле него, «поднять руку» на первую персону в партии.

Расчет Игнатова получить за «услугу» повышение и вновь войти в верхнее руководящее ядро оказался неверным. На Пленуме ЦК его положение не изменилось к лучшему — он оставался на посту Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Спустя некоторое время Игнатов возглавил делегацию депутатов Верховного Совета в Бразилию. Там он тяжко заболел. Говорили, что в его организм попал какой-то странный микроб или вирус; спасти Игнатова не удалось…

* * *

Местом жительства Хрущева на пенсии был назначен небольшой дачный поселок в Петрово-Дальнем под Москвой, у тихого берега Истры. Сохранилось несколько листочков записей Нины Петровны о той поре, которые она сделала уже в последние свои годы. При всей их краткости это документальные свидетельства родного человека.

«Не помню точно месяца и года, но Н. С. немного успокоился и решил писать воспоминания о своей работе. Он диктовал на магнитофон. Делал он это регулярно по утрам, иногда и днем. Я переписывала с магнитофонной ленты текст. Когда накопилось много страниц, Н. С. передал пленки Сергею, чтобы перепечатала машинистка. Как-то он сидел рядом со мной и наблюдал, как я печатаю на машинке. Моя работа ему не понравилась: я стучу только четырьмя пальцами, а он привык к профессиональным машинисткам в ЦК, которые писали восемью и десятью пальцами, с большой скоростью. Он даже проговорил разочарованно: «Так-то ты пишешь? И когда закончишь работу?» Так пленки с записями воспоминаний Н. С. и страницы с уже напечатанным текстом оказались у Сергея. Я потом пожалела об этом, может быть, с ними не случилось бы того, что произошло. Их просто отобрали на время болезни Никиты Сергеевича в «государственных интересах» и не вернули.

В связи с этим надо рассказать о встречах Н. С. с бывшими товарищами по работе — встречах, которые укоротили его жизнь. К сожалению, не помню чисел, но последовательность хорошо помню. Первая состоялась с А. П. Кириленко. Н. С. долго не возвращался, наконец, приехал, очень возбужденный, и сразу пошел гулять к реке. Я тоже пошла с ним. Долго он ходил молча, а потом заговорил. Кириленко вызывал его для того, чтобы запретить ему писать мемуары, и потребовал сдать в ЦК уже написанное. На это Н. С. ответил, что ему могли бы дать стенографистку, и тогда все его воспоминания оказались бы не только у него, но и в ЦК. Этого сделать не захотели. Отдать материалы он категорически отказался, поскольку они еще нуждались в доработке. Далее Н. С. сказал, что запретить ему писать никто не имеет права, это противоречит Конституции нашего государства. Н. С. напомнил, что царь запрещал Т. Г. Шевченко писать и рисовать, и что из этого получилось? Шевченко читает весь мир, а кто помнит его преследователей? Кроме того, мемуары в нашей стране пишут тысячи людей, им никто не препятствует, а почему ему, Н. С., хотят запретить? Где логика? Н. С. сказал, что он сорвался, повысил голос… На следующий день Н. С. увезли в больницу в машине «скорой помощи» с тяжелым инфарктом. Он долго лечился, а по

возвращении оттуда часами лежал на веранде возле спальни, медленно выздоравливал. Доктор Владимир Григорьевич Беззубик приезжал очень часто. А те недели Н. С. внимательно, даже с любовью смотрел на небо, на сосны, на яблони и цветы в саду…

Однажды я задержалась в Москве дольше обычного и не застала Н. С. на даче. Он приехал через два с лишним часа, попросил раскладной стульчик и сел под сиренью у порога. Я ждала, когда заговорит. Позвали ужинать — отказался. Через некоторое время стал рассказывать. Звонили ему по телефону из аппарата Пельше. Пельше сказал, что за рубежом напечатана книга мемуаров Н. С. Хрущева. Как туда попали его мемуары? Кому Н. С. их передавал? Он ответил, что никому свои записи не передавал — ни у нас, ни за рубеж, они еще не приведены в такой вид, чтобы их можно было передавать в печать, он и не передал бы их никогда за рубеж… Пельше спросил, что же это значит? Книга — фальшивая? Как нам выйти из этого положения? Надо опубликовать опровержение… Н. С. согласился. Пельше сочинил текст, Н. С. отверг его и написал свой вариант, который и был опубликован в «Правде». Там было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у нас в стране, ни за границу. Пельше настаивал, чтобы Н. С. вставил фразу о том, что он не пишет и не писал никаких мемуаров. Н. С. не согласился, и опровержение пошло в печать без этой фразы. Визит к Пельше также закончился инфарктом.

Н. С. выздоровел, но не оправился от болезни, долго чувствовал слабость. Диктовать он перестал. В один из дней первой недели сентября (1971 г.), 5-го или 6-го числа, Н. С. вернулся от Рады. Пошел гулять после обеда, понес стульчик с собой, но скоро вернулся. Ночью у него болело сердце, я дала ему нужные лекарства, боль прекратилась, он уснул. Утром встал, умылся, и опять заболело сердце. Приехал доктор Беззубик с сестрой, сделали укол, увезли в больницу с третьим инфарктом. Н. С. настоял, чтобы ехать сидя, может быть, это ухудшило его состояние. В больнице сам шел по коридору, в палате долго разговаривал с персоналом, а ночью стало ему плохо, и 11 сентября Н. С. ушел из жизни».

Н. А. Микоян
Фурцева — от Хрущева до Брежнева (Из книги Н. А. Микоян «неизвестная Фурцева»)

Хрущев и Фурцева

После смерти Сталина Хрущева избирают первым секретарем ЦК партии, Фурцева становится первым секретарем Московского городского комитета партии.

Искренняя приязнь к ней Хрущева не могла остаться незамеченной. И вправду ходили слухи, что их связывало больше, чем симпатия. Но те, кто знал Екатерину Алексеевну достаточно близко, были абсолютно убеждены, что никакой любовной связи между ними не было. Главный режиссер Большого театра Борис Покровский как-то сказал: «Если бы такое было на самом деле, это выглядело бы, как забавный анекдот. Думаю, что ему было просто приятно на нее смотреть!»

А секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев считал, что если сравнительно нестарому мужчине не нравится симпатичная женщина, то это не человек, ведь еще Маркс говорил: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!» Он считал, что, возможно, Фурцева нравилась Никите Сергеевичу, но о каких-то «шурах-мурах» речь не шла.

И я уверена в том, что слухи об их романе были всего лишь слухами. Екатерина Алексеевна — красивая женщина, следила за собой, нравилась многим. Спортивная фигура, энергия, обаяние не могли не привлекать к ней людей. Юлия Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, вспоминала, что действительно Екатерина Алексеевна ему нравилась простотой, активностью, жизнелюбием, контактностью, энергией. Она всегда была в центре обкомовско-горкомовской компании. Юля вспоминала, как однажды Фурцева за считанные минуты сколотила волейбольную команду, была заводилой, ведущей, прекрасно подавала и принимала мяч. Все ею любовались. Конечно, любовался ею и Хрущев. И для него простонародное происхождение Фурцевой имело принципиальное значение, нравилось, что она из ткачих. Он вообще считал, что дипломатами должны становится директора заводов, председатели колхозов, что именно эти слои общества должны выдвигаться. Фурцева как никто вписывалась в этот образ.

Никита Сергеевич повсюду брал ее с собой не только потому, что ему хотелось видеть рядом красивую женщину, он просто очень доверял ей. Поэтому, возможно, и сделал ее председателем одной из комиссий по подготовке ставшего важным для нашей истории XX съезда партии…

В целом я считаю, что Хрущев не ошибся в Фурцевой. И как в политике, и как в человеке. Известно, что она сыграла очень

важную роль в его судьбе. Я имею в виду знаменитое заседание Президиума ЦК, которое состоялось в июне 57-го года. Заседание было закрытое, на него не пускали ни секретарей, ни стенографисток. Семь человек из одиннадцати выступили тогда против Хрущева, которому ставилось в вину очень многое. Особенно уничтожение сталинской системы. Молотов, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин — все выступали активно «против». В защиту Хрущева Брежнев, Суслов, Микоян, Поспелов, хотя и оговаривались, что, конечно, недостатки есть, но мы их исправим…

Молотов считал, что к июню 57-го года в Президиуме ЦК сложилась такая обстановка, при которой Хрущева больше нельзя было терпеть. При этом Молотов, Каганович, Маленков не составляли «антипартийной» группы. У них и программы-то никакой не существовало. Заговорщики горели единственным желанием — снять Хрущева с поста первого секретаря партии и назначить его министром сельского хозяйства. На пост же первого секретаря планировали назначить Молотова.

Фурцева, как кандидат в члены Президиума ЦК, присутствовала на том заседании. Когда дело приняло неожиданный оборот, она, как в полудетективном сюжете, время от времени стала покидать зал заседаний. А выходила она, потом оказалось, не просто в «женскую» комнату. Из своего кабинета, что был по соседству, Фурцева звонила председателю КГБ Серову и секретарю ЦК Игнатову, призывая их прийти на помощь Хрущеву. Игнатов сумел поднять двадцать членов ЦК, которые немедленно прибыли на заседание Президиума и потребовали созвать Пленум.

Молотов со товарищи оказались в трудном положении: сбившиеся в одну команду все члены ЦК, неожиданно появившиеся в Москве, дали им решительный отпор: «Вы не назначали Хрущева! Его на должность Первого секретаря избирал ЦК. Члены ЦК съехались и хотят обсудить вопрос: надо снимать Хрущева или нет!»

Министр обороны Жуков оказался в числе сторонников Хрущева и очень твердо стоял на своих позициях: «Я их всех арестую!» А после добавил, что ни одна пушка не выстрелит без его команды. Голос маршала стал решающим: если бы не Жуков, то группировка Молотова, Кагановича, Маленкова и, как тогда говорили, «…примкнувшего к ним Шепилова» имели бы реальные шансы на победу. Хрущева однозначно тогда спасли Жуков и помогавшая ему Фурцева.

На пленуме Екатерина Алексеевна вела себя активно, бескомпромиссно. Клеймила противников очень страстно:

«стремление взять реванш, повернуть историю», «пойманы с поличным», «это культ». Решался важнейший вопрос — возвращаться к прежним временам сталинизма или выбрать новый путь. Жуков поддерживал предложения Фурцевой «очиститься от тех, кто не в ногу»…

Историческая фраза Хрущева «Пленум постановил вывести из состава членов Президиума ЦК Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова. Я прошу этих товарищей покинуть заседание» провозгласила окончательную победу Никиты Сергеевича, который разгромил своих врагов. Вместе с ним победу праздновала и Фурцева.

* * *

С этого момента начинается ее восхождение на вершину власти. Член Президиума ЦК, секретарь ЦК, она становится влиятельнейшим человеком в стране. Повсюду появляются ее портреты. Однако вершины опасны тем, что падать с них больнее. Сначала немилость Хрущева пала на Жукова. Ведь Хрущев видел силу маршала, а маршал — его слабость. Такое трудно забыть и невозможно простить. А потому «Жуков не оправдал оказанного доверия и оказался политическим деятелем, склонным к авантюризму». Так предали маршала, а вскоре он был снят с поста министра обороны.

Очевидное влияние получили люди, не желавшие видеть рядом с собой таких сильных политических соперников, как Фурцева и Жуков. Они понимали, что это люди поступка, что они могут высказать свое мнение. В результате, избавившись от тех, кто был ему предан, Хрущев остался с теми, кто в дальнейшем предал его.

Возможно, начиная демократические преобразования, Хрущев еще не был к ним готов. Когда же они стали активно развиваться, он испугался их масштабов и стал активно избавляться от тех, кто настаивал на дальнейшем проведении реформ.

Пришло время избавиться от Аристова, который вместе с Фурцевой боролся за Хрущева, когда его хотели сместить с поста Первого секретаря ЦК. Потом взялись за Игнатова. Работая в соседних кабинетах, Фурцева и Игнатов часто встречались, обсуждали острые политические вопросы. Оказалось, что их разговоры прослушивали, а о результатах докладывали Хрущеву.

Потом пришло время расстаться и с Фурцевой. На XXII съезде партии ничего не предвещало начала конца: Фурцева — член Президиума ЦК, ей, как всегда, предоставляют слово. Но,

продолжая поддерживать Хрущева и его политику, она не знала, что ее судьба уже решена: в новом списке Президиума ЦК ее не оказалось. Когда огласили список (уже без ее имени), она наверняка испытала шок. Шок не оттого, что было сделано, а как! Скрытое предательство поразило ее в самое сердце, она не могла сдержаться и покинула съезд. Вслед Хрущев только поморщился и бросил: «Дамские капризы! Что вы хотите — климакс!»

Последней каплей, возможно, стал следующий эпизод. Она сидела в своем кабинете вместе с деятелями кино. Во время заседания, молча, ни у кого ничего не спросив, в кабинет вошел человек в полувоенном френче, отключил внутренний телефон связи и «правительственную вертушку», взял два аппарата и вышел.

Фурцева в состоянии сильнейшего шока села в машину, приехала на дачу и разрезала вены. Ее вовремя обнаружили, доставили в больницу и чудом спасли. Я помню, тогда Анастас Иванович, повторяя слова Хрущева, сказал: «У Екатерины Алексеевны климакс, поэтому она так себя повела…»

Но я полагаю, что это не был вздорный поступок слабой женщины: Екатерина Алексеевна виделась сильным человеком и, как показывает вся ее жизнь, в переломные моменты умела быть решительной и жесткой, не пасовать перед трудностями. Она дорожила человеческими отношениями и не могла пережить предательство.

Муж Фурцевой объяснял своей дочери Маргарите, что такой демонстративный протест мог закончиться для Фурцевой арестом. Но закончился… «ссылкой» в Министерство культуры.

Женщина-министр

В министерство Екатерина Алексеевна приходила к девяти часам. Собранной, подтянутой, с готовыми планами на день. Четко организовывала часы приемов. Поздним вечером опять заезжала в министерство, где ее ждали помощницы Любовь Пантелеймоновна и Татьяна Николаевна, и намечала задачи на завтра.

Я бывала в служебном кабинете министра культуры СССР. Он выглядел бы строгим и излишне казенным, если бы не ваза с цветами, которая всегда стояла на столе. Думаю, такие дамские пристрастия располагали посетителей, поднимали настроение. Рядом с кабинетом находилась узкая комната отдыха, где стоял шкаф с одеждой, необходимой для выхода в театр, на торжественные приемы.

Иногда она обедала в этой комнатке, но чаще всего в министерской столовой вместе со своими замами — Владимиром Ивановичем Поповым, заместителем по зарубежным связям, и Василием Феодосьевичем Кухарским (моим мужем), заместителем по музыке, с которым она была особенно близка. Профессионалы, каждый в своей области, ее заместители уважали и ценили Фурцеву.

Такая деталь: за годы работы в министерстве Фурцева не уволила ни одного человека. А ведь всякое бывало, она могла бы лишний раз и показать свою власть.

Помню, я как сотрудник журнала «Советская музыка» присутствовала на министерском заседании по эстраде. Собрались артисты, журналисты, музыканты. Особенно запомнился Леонид Осипович Утесов. Вошла Фурцева. В этот день она была как-то особенно хороша собой: высокая прическа, строгое серое платье, облегающее фигуру и позволяющее видеть ее стройные ноги в элегантных туфельках на высоких каблуках. Зал мгновенно затих. Екатерина Алексеевна поправила рукой прическу (это был ее привычный жест) и, слегка улыбнувшись, сказала: «Что могу сказать вам, мастерам искусств, я — простая женщина? Думаю, лучше, чтобы говорили вы!» Все вскочили с мест, зааплодировали. Мэтры оценили ее облик, манеру держаться и, главное, суть и смысл сказанного.

Кухарский рассказывал, как проводила она заседания коллегии: выстраивала для себя внутреннюю драматургию дискуссий, как правило, никого не прерывала. Разве что морщилась, когда оратор предлагал какую-нибудь «завиральную» идею. Умела лаконично завершить обсуждения, иногда так лихо

находила рациональное зерно, так четко обнажала истину, что присутствующие ахали да разводили руками. А ведь коллегии, как правило, собирали цвет художественной интеллигенции.

Следила за формой своих выступлений, вносила в них забавную либо острую театральность. Я знала, что министр много лет брала уроки дикции у несравненной актрисы Веры Петровны Марецкой, дружила с ней. Это не случайно: многое роднило двух талантливых, обаятельных русских женщин.

Думаю, министру культуры не мог не нравиться художественный фильм «Член правительства». История бывшей батрачки Александры Соколовой, сумевшей исключительно за счет личных качеств стать сначала председателем колхоза, а в дальнейшем и депутатом, была очень близка Фурцевой.

Работалось с Екатериной Алексеевной нелегко, муж нередко говорил об этом. Когда он переходил в Министерство культуры, его предупредили: «Не спорь с Фурцевой на людях. Все конфликты решайте один на один».

Кухарский старался придерживаться этого принципа, хотя удавалось не всегда. Особо острые конфликты разыгрывались после его возвращения из зарубежных командировок.

Василий Феодосьевич как-то рассказал об одном из таких эпизодов. Суть такова. В 1969 году проходил фестиваль русской советской музыки в Париже. Триумф необыкновенный. Не только левая, но и правая печать единодушно подчеркивала, «какие необычайные открытия сделал Запад после того, как русская музыка стала советской музыкой». Министром культуры Франции в ту пору был Андре Мальро, писатель, мыслитель, соратник Шарля де Голля в борьбе за освобождение Франции от фашизма, идеолог голлизма. Василий Феодосьевич познакомился с ним в Москве, куда Андре Мальро приехал после долгого перерыва. В 1934 году как французский писатель-коммунист он был почетным гостем Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Потом началось отлучение Мальро от коммунизма и в целом от «прогрессивного человечества». К сожалению, по советской инициативе.

В первые же дни фестиваля Андре Мальро пригласил Кухарского в министерство. Муж приехал в сопровождении советника по культуре нашего посольства Казанского. По дороге им сообщили, что встреча предполагается «протокольная», то есть не более получаса. Не тут-то было! Поздравив с успехом фестиваля, Мальро сразу, как говорится, взял быка за рога. Он говорил о предстоящем через год 100-летии Ленина: «Эта дата будет отмечаться во всем мире, как величайшая в XX столетии, особенно широко ее отметят во Франции». Стал рассказывать о

своих планах, о грандиозной выставке в престижном зале Парижа «Гранд Пале». Мальро просил прислать побольше подлинников ленинских рукописей, особенно тех, что связаны с его деятельностью во Франции. Лицо уже больного, усталого, пожилого Мальро, человека сложной судьбы, то и дело озарялось молодой улыбкой.

Воодушевленный его предложением, Кухарский тут же отправил депешу в Москву. И вдруг на следующий день получил строгий приказ министра немедленно вылететь на родину. И это в разгар успеха фестиваля! Что случилось? Посол только горестно развел руками. Чуть позже Кухарский понял причину: возможно, Екатерина Алексеевна ревниво отнеслась к его почти дружескому сближению с французским министром.

* * *

В годы пребывания Фурцевой на посту министра культуры возрос интерес к советскому искусству, увеличилось количество контактов с зарубежными странами. Культурная жизнь страны преобразилась. Екатерина Алексеевна очень любила кино и, познакомившись в Париже с французским искусством, влюбилась и в город, и в его обитателей. В Москве начались недели французского и итальянского кино. Изголодавшаяся по премьерам публика ломилась в кинотеатры. Хорошим тоном стало разбираться в западном кинематографе. Многие зарубежные фильмы Госкино закупило не без вмешательства Фурцевой. В Москве проходили выставки картин из Дрезденской галереи, Нью-Йоркского музея «Метрополитен», французских импрессионистов.

Многие контакты Екатерина Алексеевна налаживала благодаря своему обаянию. Так, бельгийская королева Елизавета подарила ей свой портрет с говорящей надписью: «Екатерине от Елизаветы». Датская королева Маргрете заявила, что «мечтает сделать для своей страны столько, сколько Фурцева сделала для своей».

Однажды Екатерина Алексеевна поехала в столицу Франции вместе с оперной труппой Большого театра. Весь Париж, как свидетельствовали французы, ринулся к зданию Гранд-опера. Фурцева присутствовала на спектаклях, и это тоже «работало» на положительный образ Советов, который постепенно вытеснял прежний «образ врага». Для многих открытием стала не только русская культура, но и русский министр культуры — обаятельная, эмоциональная, изящная, хрупкая и в то же время очень

решительная женщина.

Фурцева, говоря современным языком, выступала в роли продюсера от лица государства. Руководствуясь личными вкусами и привязанностями, прислушиваясь к мнениям людей, которым доверяла, она сделала очень много для культурной жизни того времени…

Фурцева гордилась победами наших музыкантов на международных музыкальных конкурсах. Кухарский вспоминал, с каким воодушевлением она рассказывала о конкурсе в Брюсселе, где советская музыкальная школа вновь одержала триумфальную победу. Тогда все четыре наших участника получили премии. Катя Новицкая — ученица профессора Льва Оборина — первую, Камышев — вторую, Кручин — четвертую, Леонская — девятую. Когда жюри удалилось на совещание, чтобы вынести окончательное решение и назвать имена победителей, никто не ушел из зала, все ждали решения жюри, а ждать пришлось до четырех часов утра! Овацией приветствовали победу советских исполнителей!

Василий Феодосьевич шутил, что Фурцева говорила о победе в музыкальном конкурсе, как о победе коммунизма!

Так же гордилась она успехами советского балета, премиями, которые привозили учащиеся Московского хореографического училища из Лондона и Парижа. В период застоя советский балет находился в самом расцвете. В стране работали 39 театров оперы и балета, а потому «в области балета» нас никто не мог догнать и тем более перегнать.

…Гастроли советских артистов за рубежом приносили большие доходы в государственный бюджет. Министерство культуры сообщало, что только за гастрольную поездку, например, Святослава Рихтера в Италию и во Францию в 1963 году государство получило 50 тысяч долларов прибыли. Тем не менее, несмотря на явные успехи, ЦК партии и Комитет государственной безопасности с крайней подозрительностью относились к выездам наших артистов на гастроли в капиталистические страны. Знаю, что Фурцевой порой приходилось биться с ними по этому поводу. В те годы при рассмотрении просьб министерства о зарубежных гастролях того или иного деятеля культуры руководствовались количеством выездов его за границу в текущем году. Например, в сентябре 1956 года Давиду Ойстраху не разрешили выезд в США, так как в январе знаменитый скрипач там уже побывал.

Еврейский вопрос

С «легкой» руки Сталина в 30 — 40-х годах в обществе стал муссироваться так называемый еврейский вопрос. Среди наших знаменитых музыкантов, артистов и писателей было немало людей еврейской национальности. Отношение к ним Фурцевой можно понять на таком примере.

В январе 59-го года знаменитый в то время певец Александрович выступал в Куйбышеве, откуда его срочным порядком внезапно вызвали в Москву. Речь шла о важной заграничной командировке во Францию и Бельгию для участия в праздновании 100-летия со дня рождения еврейского классика Шолом-Алейхема. Мероприятие проводилось Всемирным Советом Мира. В нем принимали участие большинство стран, но СССР отказался посылать своих делегатов. И тут вышла загвоздка, о которой позже певцу рассказала сама Фурцева.

Дело в том, что приехавший на съезд КПСС секретарь компартии Франции обратился лично к Хрущеву с просьбой прислать-таки во Францию делегацию деятелей еврейской советской культуры. Хрущев пообещал, но сказать об этом Фурцевой то ли забыл, то ли не захотел…

Однако французы напомнили Никите Сергеевичу о его обещании и попросили назвать имена делегатов. Хрущев замялся, но тут же отчеканил: «Поедет Александрович. Остальных участников он сам подберет». По словам Фурцевой, она пыталась объяснить Хрущеву, что в связи с «рядом мер», проведенных в нашей стране в последние годы, она не сможет обеспечить полноценную делегацию, ибо просто не знает, где взять этих еврейских деятелей.

Александрович считал, что Фурцева должна была сказать своему шефу примерно следующее: «Ты же, Никита Сергеевич, сам знаешь, что мы давно позаботились об уничтожении еврейской культуры вместе с ее деятелями. А коли нет еврейской культуры — где же взять делегатов?»

Конечно же, Александровичу этих слов Фурцева не говорила. Она лишь рассказала, что из-за нажима на нее со стороны французов снова беседовала с Хрущевым.

Но тот все отмахивался и отмахивался, твердя: «На то ты и министр культуры, чтобы решать такие вопросы самой, а у меня есть дела поважнее».

…Делегатов все же «наскребли». В группу вошли: Нехама Лифшиц — единственная в то время певица, добившаяся права исполнять в то время еврейские песни (кстати, она была членом

КПСС); Эмиль Горовец — незадолго до того прекративший выступать в качестве еврейского певца и разработавший репертуар легкого жанра на русском языке; чтец Эммануил Каминка, знавший несколько слов на идиш, но специально для этого важного визита подготовивший на еврейском языке небольшой рассказ Шолом-Алейхема; Наум Вальтер — пианист радиокомитета и автор этой трагико-юмористической были, напрочь позабывший весь свой еврейский репертуар, так как давно уже не имел возможности его исполнять.

За несколько дней до выезда Фурцева вызвала группу для инструктажа в ЦК. Все поняли, что будут «промывать мозги», то есть учить, как должен вести себя советский человек в капиталистическом враждебном окружении, избегая лишнего общения с иностранцами. Особенно всех поразила просьба Фурцевой не высказывать вслух восхищения увиденными в магазинах товарами и объяснять наше отставание в продуктовом и бытовом отношении необходимостью вооружаться, чтобы дать отпор недремлющему врагу.

«Но как оказалось, — продолжал Махлис пересказ курьезной истории, — главное было впереди: отъезжающим поручалось на высоком идейном уровне освещать за рубежом вопрос о положении еврейской культуры в СССР. Вот, дескать, смотрите, господа французы и бельгийцы, перед вами живые евреи, так что вы не верьте вражеским утверждениям, что в СССР их всех вывели…»

* * *

Михаилу Александровичу принадлежит и следующий сюжет.

В Министерстве культуры вопрос о регулировании заработков артистов ставился неоднократно.

На одном таком совещании, рассказывал Михаил Александрович, Фурцева стала возмущаться «алчностью и стяжательством» некоторых артистов.

— Передо мной список заработков наших уважаемых мастеров, — говорила Екатерина Алексеевна. — Ну посудите сами, товарищи, разве это не безобразие? Я, министр культуры СССР, получаю семьсот рублей в месяц, а Александрович зарабатывает в два раза больше.

В этот момент встал Смирнов-Сокольский и хриплым голосом воскликнул:

— В том-то и дело, Екатерина Алексеевна, что вы — получаете, а Александрович — зарабатывает!

Эта реплика буквально сразила оратора, Фурцева онемела. У присутствовавших же она вызвала бурные аплодисменты и вскоре стала крылатой. В какой-то мере шутка Смирнова-Сокольского затормозила наступление министерства на артистов-миллионеров. Но ненадолго.

Через некоторое время в Москонцерт спустили приказ, запрещающий мне выступать более десяти раз в месяц.

Но и этого показалось мало. Еще через год министерство распорядилось ограничить лично мои выступления пятью концертами в месяц. Когда же я стал доказывать одному из замов министра, что дело не только в заработках, что мои концерты приносят государству прибыль и поднимают общую культуру народа, то увидел пустые глаза и услышал гневный окрик: «Наше государство достаточно богато и без вас! А вы только о том и думаете, чтобы загребать тысячи!»

Можно заметить, что с этой проблемой сталкивались многие артисты уже брежневской эпохи. Терпели, жаловались — безрезультатно. До тех пор, пока получившая уже всесоюзную известность Алла Пугачева обратилась в какой-то форме к самому Леониду Ильичу. После этого ее концертная ставка в 45 рублей была увеличена до 75.

Вишневская о Фурцевой

Екатерина Алексеевна, став министром, очень хотела сблизиться с актерами, музыкантами, писателями. Как женщину любознательную, по-своему талантливую, культура ее захватила. Перед творческими людьми она благоговела.

Я, например, знаю, что на деловые разговоры к некоторым нашим уважаемым знаменитостям она сама приезжала, а не вызывала их официально в свой кабинет. К примеру, Василий Феодосьевич боготворил Георгия Свиридова. Его отношение, думаю, передалось и Екатерине Алексеевне. Орден она поехала вручать к нему домой, не стала вызывать гениального композитора в официальный кабинет.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович был одним из тех деятелей культуры, с кем Фурцева общалась не только в рабочей обстановке, но и в домашней, на квартире композитора. Интуиция подсказывала ей, что именно Шостаковича в министерство «вызывать» не следует, и она, договорившись с ним по телефону, обычно навещала его дома даже по деловым вопросам. Екатерина Алексеевна вела себя очень тактично, общаясь с теми, кто был всенародно любим, кого уважала вся страна…

Что касается Галины Вишневской, то я не была с ней так близка, как со Славой Ростроповичем, но знала, что с Екатериной Алексеевной она пребывала в добрых отношениях. Так же, как, впрочем, Вишневская старалась дружить и со Щелоковыми. Я часто видела ее на спектаклях и концертах в ложе рядом с этой высокопоставленной четой.

Ростроповича Фурцева боготворила. Когда в 64-м году после серьезной ссоры с женой Слава пытался покончить с собой и оказался в больнице, Фурцева примчалась к нему, помогала с лекарствами, всячески его поддерживала. А потом, насколько я знаю, помирила с Вишневской. Кстати, об этом эпизоде Галина Павловна вскользь тоже пишет в своей книге.

В этой книге Галина Вишневская много чего написала про Фурцеву, но пусть об этом судит сам читатель:

«В те годы министром культуры был Михайлов, до того много лет занимавший пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ, а еще раньше, в буйной молодости, — бандит и гроза московских окраин по кличке Каргузый. Внешность у него была под стать его тупости, и часто встречаясь с ним на приемах, в толпе я его просто не узнавала. Бывало, Слава толкает меня в бок, шепчет: «Ты почему не здороваешься?» — «А кто это?» — «Ты что, с ума

сошла, это Михайлов!» — «А-а… Здравствуйте».

Думаю, что Михайлов был одним из самых выдающихся болванов на этом посту. Именно ему принадлежит блестящая идея ввести в репертуар Большого театра оперы всех национальных республик Советского Союза…

Но он не успел провести в жизнь свой гениальный план — Екатерину Фурцеву вывели из Политбюро, и она осталась не у дел, так что ее срочно надо было куда-нибудь приткнуть. В таких случаях вспоминают об артистах. Михайлова сняли — Фурцеву назначили министром культуры. Но она не стала разрабатывать золотую жилу своего предшественника, у нее было свое хобби: она считала, что профессиональное искусство вообще не нужно… С истинно женской легкостью Фурцева переключилась на другое хобби: бриллианты, золото, на добычу которых перебросила тех же артистов, ибо дилетанты тут не добытчики.

…Были у нее свои артисты-«старатели», в те годы часто выезжавшие за рубеж и с ее смертью исчезнувшие с мировых подмостков. После окончания гастролей такой «старатель», чаще женщина, обходил всех актеров с «шапкой», собирая по 100 долларов «на Катю», — а не дашь, в следующий раз не поедешь. Мне это рассказывали артисты оркестра народных инструментов на гастролях в Англии. Собирала у них дань подруга Фурцевой, певица нашего театра по прозвищу «Катькина мочалка» (та ходила с ней вместе в баню). Она часто ездила именно с этим коллективом. От хозяйки у нее были специальные инструкции, так что она знала, что покупать, набивала барахлом несколько чемоданов и волокла в Москву. Охоча Катя была и до водки…

И все же было в этой простой русской бабе большое обаяние. Начала она свою карьеру ткачихой на фабрике и дошла до члена Политбюро. Пройдя огонь, воду и медные трубы, была Катя хваткой, цепкой и очень неглупой. Обладала большим даром убеждения и, имея свои профессиональные приемы, хорошо знала, как дурачить людей. Умела выслушать собеседника, обещала, успокаивала как мать родная, и человек уходил от нее, очарованный ее теплотой, мягкостью — благодарил… Правда, вскоре выяснялось, что сделала она все наоборот. Но, даже хорошо зная ее повадки, нельзя было не поддаться ее обаянию. У меня был свой способ разговаривать с ней. Если она в присущей ей манере начинала уводить разговор в сторону, заговаривая мне зубы, то я, внимательно на нее глядя, просто ее не слушала. Главное было — не упустить, не забыть собственной мысли и, как только Катя умолкнет, успеть эту мысль протолкнуть. Она мне про Фому, я ей про Ерему.

Продержалась она на своем посту долго, как никто, — 14 лет.

В последней «дачной» истории, когда по ее распоряжению сняли ковры во Дворце съездов и застелили ими полы на даче дочери, ее буквально поймали за руку, но она, как кошка, выброшенная из окна, моментально перевернулась и встала на ноги. Уж Катя-то хорошо знала всю подноготную закулисной жизни правительственной элиты и действовала их же методами, прекрасно ею усвоенными.

* * *

…Последний раз меня выпустили на концерты в США в 1969 году, и сопровождался отъезд огромным скандалом в Министерстве культуры и ЦК.

…За неделю до отъезда меня вызвал секретарь парторганизации театра Дятлов, и впервые за все годы работы в театре мне был задан вопрос: почему я не посещаю политзанятий?

Надо признаться, что я была единственной из всего трехтысячного коллектива театра, действительно ни разу не почтившей своим присутствием эти идиотские сборища утром по вторникам.

— А, собственно, зачем?

— Ну чтобы быть в курсе мировых событий.

— Меня интересуют другие события: у меня домработница ушла, а мне спектакль завтра петь. И кто в таком случае будет стоять в очереди и варить обед?

— Но вы подаете плохой пример молодежи. Видя, что вы отсутствуете, они тоже не приходят на занятия.

— Вот и воспитывайте их, а меня оставьте в покое. Не ходила и не буду ходить.

На другой день мне позвонили из Министерства культуры и сказали, что Большой театр отказался подписать мою характеристику на поездку в Америку, что мои гастроли аннулируются… Разрешить проблему могла только лично Фурцева: по-видимому, она пожелала на виду всего коллектива меня воспитывать, чтобы другим неповадно было. Ведь самое большое наказание — не пустить за границу.

Мне стало противно до омерзения от этой наглости: обирают до нитки да еще выставляют эти поездки как особое к тебе расположение… Да пошли они все к чертовой матери, поезжайте сами и пойте.

Позвонила Славе в Нью-Йорк и рассказала, что меня не выпускают, потому что театр не дает характеристики. Я на

политзанятия не хожу.

— Да что они, с ума сошли? Пойди к Фурцевой.

— Никуда не пойду. Я не девчонка — обивать пороги кабинетов.

— Но здесь же объявлены твои концерты, как они могут не пустить тебя?

— Они все могут.

…Слава связался с посольством в Вашингтоне и объявил, что, если я не приеду на гастроли, он аннулирует все свои концерты и уезжает в Москву. Но перед этим даст интервью «Нью-Йорк таймс»… Видя, что запахло хорошим скандалом, в дело включился советский посол Добрынин. И пошел у него перезвон с Москвой, а когда звонит из Америки советский посол, это дело нешуточное. И Фурцева получила нагоняй.

Прошел день-другой, и Катя вызвала меня к себе:

— Галина Павловна, что произошло?

— Наверное, вам все уже рассказали. Я могу только добавить, что я совершенно не нуждаюсь в подачках в виде гастролей за границу. Я езжу прославлять русское искусство, а вместе с ним и советское государство… То же самое делает мой муж — играет каждый день до крови на пальцах.

— Кто же посмел издеваться над вами, народной артисткой Советского Союза? — заорала Катя и вперила свой взгляд в парторга. Тот от столь неожиданного поворота стал заикаться:

— Кат-т-т-терина Алексеевна, дело в том, что Галина Павловна не по-по-сещает по-литзанятий.

— Какие такие политзанятия?! Как вы смеете?! — и хвать кулаком по столу. — Это вам не 37-й год!

От такого мозгового завихрения Кати мы все вылупили на нее глаза, а она зашлась, орала на них, недавних партнеров по игре, как на мальчишек. И они, красные от стыда, молча слушали бабий разнос.

* * *

…Уже год как Мелик-Пашаев был отстранен от поста главного дирижера. Он и Покровский считали, что в театре не должно быть командных постов: главных — дирижера, режиссера, художника, что эта система устарела. Короче говоря, все должны работать, а не командовать. Тот и другой хорошо знали себе цену и понимали, что заменить их невозможно, и со своими предложениями пришли к Фурцевой. Она была очень мила, попросила изложить свои пожелания письменно, обещая

доложить правительству… И через несколько дней в канцелярии театра висел приказ, гласящий, что Мелик-Пашаев и Покровский по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей, и на их места главными назначены дирижер Светланов и режиссер Туманов. Для театра это было полной катастрофой. Знаменитый Мелик оказался в унизительном подчинении у начинающего дирижера, человека грубого и психически неуравновешенного. А Покровский — под началом самого бездарного из всех режиссеров, встретившихся на моем пути, но очень опытного и льстивого царедворца.

…А вскоре Мелик-Пашаев умер. Было ему только 59 лет. Для меня его смерть явилась не несчастьем, не горем, все это не те слова. Умер друг, любимый дирижер, и вместе с ними умер Большой театр. Гроб с телом выставили в фойе. Но принятой в таких случаях гражданской панихиды не было. Вдова Александра Шамильевича не разрешила речей и музыки. По этому поводу Фурцева вызывала директора театра, скандалила, требуя, чтобы были «нормальные» похороны.

— Как это так, без музыки? Что за показуху вы собираетесь там устраивать?!

Этой дуре-бабе не приходило в голову, что пышный концерт и «свадебные» генералы на похоронах и есть показуха. Вдова покойного сказала, что не желает слушать над гробом речи людей, убивших ее мужа.

— А если так, то я запрещаю выставлять гроб в Большом театре, — сказала Фурцева.

— Но это же скандал, Екатерина Алексеевна. Бывший главный дирижер, народный артист СССР — что подумает народ?

Но Катя не гнушалась ничем. Угрожала, что пенсии вдова не получит, что и на Новодевичьем Мелик-Пашаева не похоронят. Вдова стояла на своем:

— Не позволю глумиться над моим покойным мужем.

Наконец через три дня великодержавный театр распахнул настежь двери, чтобы навсегда отторгнуть от себя одного из самых верных своих служителей, последнего из могикан… Фурцева на похоронах не появилась — прислала своего заместителя… Ирина Архипова, бледная, запыхавшаяся, вцепившись в мою руку, как безумная, шептала на ухо:

— Не плачь, не плачь. Я отомстила. Я только что вернулась из ЦК. Я им сказала все.

* * *

…Когда Солженицын закончил свой «Август четырнадцатого», Слава посоветовал ему не отдавать его сразу на Запад.

— Ты должен известить сначала все советские издательства, что закончил роман.

— Да ведь не будут печатать — рукопись только истреплют.

— А ты не давай рукопись, разошли письма во все редакции с извещением, что закончил роман, — напиши, на какую тему, пусть они официально тебе откажут, тогда ты сможешь считать себя вправе отдать рукопись за границу.

Солженицын послушал его совета — написал в семь издательств, ни одно не ответило ни единым словом.

Тогда Слава попросил у Александра Исаевича один экземпляр и решил сам пробивать дорогу…

Сначала он позвонил в ЦК, секретарю по идеологии Демичеву. Тот был рад звонку, спросил о здоровье, приглашал зайти.

— С удовольствием зайду, Петр Нилыч. Мне нужно вам кое-что передать. Вы, конечно, знаете, что на нашей даче живет Солженицын. Он сейчас закончил исторический роман «Август четырнадцатого»…

— Да? В первый раз слышу.

И голос уже совсем другой, холодно-официальный. Слава же с энтузиазмом продолжает:

— Я прочитал роман, Петр Нилыч. Это грандиозно! Уверен, что, если вы прочтете, вам понравится.

Наступившая затем пауза несколько привела его в чувство.

— Вы меня слышите, Петр Нилыч?

— Да, я вас слушаю…

— Так я через полчаса привезу вам книгу.

— Нет, не привозите, у меня сейчас нет времени ее читать.

— Так, может, кто-нибудь из ваших секретарей прочтет?

— Нет, и у них не будет времени.

Ростропович понял, что разговор окончен.

Не беда! И Слава позвонил Фурцевой. Наученный предыдущим телефонным разговором с Демичевым, к Катерине решил явиться собственной персоной, о чем и сообщил ее секретарше. Встретила его Екатерина Алексеевна, как мать родная:

— Славочка, как я рада вас видеть! Как поживаете? Что Галя, дети?

— Спасибо, Екатерина Алексеевна, все хорошо, все здоровы.

— А «этот-то» все так и живет у вас на даче?

В разговоре она никогда не называла Солженицына по имени, а только всегда — «этот».

— Конечно, куда же ему деваться? Квартиры нет, не в лесу же ему жить. Вы бы похлопотали за него, чтобы квартиру ему в Москве дали… Самое главное, что он здоров, много работает и только что закончил новую книгу, — с радостью сообщил Ростропович, надеясь на лице собеседницы увидеть счастливое выражение от услышанной новости.

— Что-о-о? Новую книгу? О чем еще? — в ужасе закричала она.

— Не волнуйтесь, Екатерина Алексеевна, книга историческая про войну 14-го года, которая еще до революции была, — спешил сообщить ей Слава, думая, что от страха она перепутает все исторические даты. — Я принес ее с собой, она в этом пакете. Вы обязательно должны ее прочитать. Уверен, что вам очень понравится.

И он хотел положить рукопись на стол.

Тут уж Катя, забыв свою министерскую стать и свою вальяжность, просто по-бабьи завизжала:

— Не-е-е-т! Не кладите ее на стол!!! Немедленно заберите! Имейте в виду, что я ее не видела!

…Так закончилась вторая Славина попытка с книгой Солженицына. Долго он еще ходил с ней, как коробейник, по разным инстанциям.

После этого Слава вернул рукопись Солженицыну:

— Конец. Ничего не вышло, Саня. Отправляй ее на Запад.

* * *

…У меня плыли красные круги перед глазами. Я не заметила, как комната опустилась вниз. Чуть не падая от пережитого, я стояла в кулисе. Кто-то коснулся моего плеча:

— Галя, что с тобой? Успокойся! Ведь счастье, что вас уже давно в тюрьму не посадили…

…Едва пришла домой — звонит Фурцева:

— Галина Павловна, почему вы подали заявление, не поговорив со мной?

— Катерина Алексеевна, я устала… Я не хочу больше объяснять вам то, что вы хорошо знаете. Одно скажу вам: отпустите нас по-хорошему, не создавайте скандала и не шумите на весь мир — ни я, ни мой муж в рекламе не нуждаемся. Через две недели будьте любезны дать ответ, дольше мы ждать не намерены и будем предпринимать следующие шаги. Раз мы пришли к решению уехать, мы этого добьемся. Вы меня достаточно хорошо знаете, я пойду на все.

— Мы могли бы спокойно объясниться, я пойду в ЦК, и все утрясется. Какие ваши желания?

— Екатерина Алексеевна, ничего теперь не нужно. Ни мне, ни Славе. Я хочу только одного — спокойно и без скандала отсюда уехать.

…В эти напряженнейшие дни, когда решалась судьба всей нашей семьи, нам позвонили из американского посольства.

— Господин Ростропович? С вами говорит секретарь сенатора Кеннеди.

— Я вас слушаю.

— Господин сенатор просил вам передать, что он был сегодня у господина Брежнева. Среди прочих вопросов говорил о вас и вашей семье, что в Америке очень взволнованы вашей ситуацией. И господин сенатор выразил надежду, что господин Брежнев посодействует вашему отъезду.

— О, спасибо-спасибо. Передайте господину Кеннеди благодарность всей нашей семьи…

Впервые повеяло прорвавшимся к нам издалека свежим ветром, и впервые за долгое время у Ростроповича заблестели глаза…

…Через несколько дней истекло две недели с подачи нашего заявления, и нас вызвала Фурцева.

— Ну что ж, могу вам сообщить, что вам дано разрешение выехать за границу на два года, вместе с детьми… Кланяйтесь в ножки Леониду Ильичу, ведь он лично принял это решение». [Конец цитаты]

* * *

Не надо забывать, что эта книга Вишневской была написана за рубежом, после выдворения знаменитой пары из России, поэтому резкие пассажи Галины Павловны в адрес тех или иных партийных и культурных деятелей вполне объяснимы.

Например, автор утверждает, что самолично вручила Фурцевой за какую-то услугу 400 долларов. И та якобы эти деньги спокойно взяла.

Я в эти сплетни категорически не верю. В квартире Фурцевой я не видела особо дорогих вещей, бросавшихся в глаза, какой-то роскоши. Наоборот, для советского министра жилье выглядело бедновато. Да, одевалась красиво, элегантно, это я подтверждаю, но дорогих украшений Фурцева никогда не носила.

В те времена преподнести подарок чиновнику, начальнику было не просто. А принять — считалось почти позором. Подарков,

которых можно было бы назвать взяткой, все очень боялись. Я знаю очень хорошо, что Василий Феодосьевич никогда не принимал подарков от людей, которые от него могли зависеть…

Екатерина Алексеевна была весьма щепетильна. Я уверена, если бы ей понадобилась какая-то сумма, она могла бы обратиться к кому угодно из тех людей, с кем дружила. К Наде Леже, например. Знаю, что она одалживала у Людмилы Зыкиной, когда нужны были деньги на строительство дачи, но позже долг вернула…

Да, подарки Фурцевой преподносили, но только в качестве знака расположения к ней. Например, Родион Щедрин подарил какую-то брошь, оговорившись, что этот подарок не ей, а дочери Светлане. Но это не те подарки, которые можно назвать взятками…

Майя Плисецкая о Фурцевой

Балерина Майя Плисецкая в своей книге тоже довольно резко отзывается о Фурцевой, хотя признает, что Екатерину Алексеевну нельзя писать только одной краской, потому что она сама была жертвой системы, сначала вознесшей ее на Олимп, а потом сбросившей с него. Известны слова Майи Михайловны на панихиде в октябре 1974 года: «У нас будут другие министры, но такого — никогда!..»

Родион Щедрин и Майя Плисецкая были теми артистами, с которыми Фурцева не только дружила, пожалуй, они единственные, кто бывал у нее дома… Светлана помнит, что мама называла Плисецкую «Майечкой». Она же мне говорила, что когда Майя была еще молода и только что вышла замуж за Щедрина, будто бы она пришла к Екатерине Алексеевне за советом: рожать ей или нет.

Родиона Щедрина я знаю с 1957 года, когда мы с первым мужем Алешей поехали в туристическое путешествие по Египту. Мы находились в одной туристической группе. Как-то в холле гостиницы, в Асуане, я села к роялю и заиграла Рахманинова. Потом Щедрин исполнил что-то из своих ранних пьес. К нам подбежал немец-бармен. Взволнованный, он начал говорить, что «мадам» прекрасно играла, ее очень хорошо учили, но то, что исполнил «господин», — это проявление удивительной души, и если бы он знал русскую душу такой, то никогда бы не бежал из своего дома в Восточной Германии.

Поскольку моя работа была связана с музыкой, Щедрина я встречала и позже, когда беззаботность юношеской дружбы отошла. Помню премьеру его оперы «Мертвые души» в Большом театре — это была неожиданная музыка, очень глубокая, саркастичная. У меня сохранилась программка с теплой надписью и ответы на вопросы по опере, написанные Робиком, Родионом Константиновичем.

Запомнились самые разные эпизоды — встречи на маленькой даче Плисецкой и Щедрина под Москвой в Снегирях, в деревянном домике с погребом под лестницей, полным вкусных напитков. Готовила еду бывшая няня Робика, перешедшая от матери вслед за ним в новую семью. Робика я считала своим другом, знала, что он любил один уезжать из Москвы, часто ездил к храму Покрова на Нерли, где, говорил, ощущает высокий покой, отдыхает душой.

С Майей Плисецкой, уникальной балериной, мы знакомы с 1952 года.

Как жалко, что судьба Плисецкой на родине сложилась не так благополучно, как того заслуживал ее редкий талант. Мятущаяся в молодости, она такой оставалась многие годы. Помню ее восторженные рассказы о Лиле Брик, о поклонении перед любимой женщиной Маяковского. Режиссер Сергей Параджанов говорил, что дух Лили Брик продолжает жить в Майе. Помню работу над первым фильмом о Плисецкой Василия Катаняна (кинорежиссера, сына исследователя Маяковского, мужа Лили Брик). Она сама вкладывала в работу над фильмом много сил, ей хотелось, чтобы он понравился зрителям.

Актерская жизнь непроста. А к Майе легко было придраться: отец — враг народа, влюбчива (тогда это считалось негативом), с трудным характером.

Не забуду такой эпизод. Однажды Майя позвонила и сказала, что я должна срочно приехать к ней с детьми, чтобы они посмотрели на двух маленьких собачек редкой породы, которых ей прислали в подарок из Англии. Дело в том, что она не может оставить их у себя и уже договорилась с кем-то, чтобы собачек срочно забрали, пусть дети приедут посмотреть на это чудо. К чему этот штрих? Плисецкая не могла позволить себе заботиться о собачках, целью ее жизни была только работа. Она хотела признания своего таланта и за это боролась.

К сожалению, Министерство культуры и отдел ЦК не согласовывали с ней, какие балеты отправлять на зарубежные гастроли, а, наоборот, принимали решения вопреки ее просьбам, так сказать, «задвигали». Наверное, по этой причине Майя Михайловна затаила обиду на власть в целом и на ее представителей в отдельности. Я имею в виду Екатерину Алексеевну.

* * *

Я все-таки надеюсь, что, несмотря на обиды, и Галина Павловна, и Майя Михайловна давно уже поняли, что Фурцева была уникальной личностью. Вот отрывки из книги Плисецкой:

«Из тех, кто безоговорочно принял спектакль на премьере балета «Кармен-сюита», назову великого Шостаковича, ругателя Якобсона, Лилю Брик с В. А. Катаняном, музыковеда Ирину Страженкову. И все…

Перед началом в директорской ложе мелькнуло беспечное, веселое лицо Фурцевой… На единственной репетиции из-за сумасшедшего цейтнота из чиновников почти никто не побывал…

Но когда на поклоны я вышла за занавес, то, бросив короткий

взгляд в директорскую ложу, вместо министра Фурцевой узрела пустое красно-золотое кресло. Веселого, беспечного лица Екатерины Алексеевны там не было.

Второй спектакль по афише был намечен через день — 22 апреля. На 22-е мы определили банкет для участников постановки, арендовав для этой цели ресторан Дома композиторов. Был внесен аванс.

Однако завертелась история. Утром 21 апреля 1967 года в телефонной трубке забаритонил голос директора Чулаки:

— Майя Михайловна, Родион Константинович, я не должен бы вам звонить. Но завтрашний спектакль «Кармен» отменяется. Вместо тройчатки (так назывался вечер одноактных балетов, последним из которых шла «Кармен-сюита») пойдет «Щелкунчик». Распоряжение дал Вартанян. Попытайтесь поговорить с Фурцевой. Вдруг уломаете. Удачи…

Вартаняном назывался маленький сутулый армянский человек, ведавший всеми музыкальными учреждениями советской страны. Выше него в министерстве культуры были лишь замы министра да сама Фурцева.

…Стремглав бросаемся в Министерство культуры. Любовь Пантелеймоновна опрометчиво выдает государственную тайну — министр в Кремлевском дворце съездов на прогоне «ленинского концерта»…

Ослепшие с яркого дневного света, ощупью входим в притемненный зрительный зал. Министр со свитой заняты важным государственным делом — добрый час рассуждают, куда выгоднее определить хор старых большевиков с революционной песней: в начало или конец концерта. Мы тихо присаживаемся за склоненными к мудрому министру спинами. Диспут закончен. Петь старым большевикам в конце, перед ликующим апофеозом. Улучив момент, вступаем с Фурцевой в разговор. Все доводы идут в ход. Но министр непреклонен:

— Это большая неудача, товарищи. Спектакль сырой. Сплошная эротика. Музыка оперы изуродована. Надо пересмотреть концепцию. У меня большие сомнения, можно ли балет доработать. Это чуждый нам путь…

Оставляю в стороне тягостный диалог. Мы говорили на разных языках.

Фурцева заторопилась к выходу. Клевреты в ожидании. Уже на ходу Щедрин обреченно приводит последние доводы:

— У нас, Екатерина Алексеевна, завтра банкет в Доме композиторов оплачен. Все участники приглашены, целиком оркестр. Наверняка теперь «Голос Америки» на весь мир советскую власть оконфузит…

— Я сокращу любовное адажио. Все шокировавшие вас поддержки мы опустим. Вырубку света дадим. Музыка адажио доиграет, — молю я министра подле самой двери.

— А банкет отменить нельзя? — застопоривает шаг Фурцева.

— Все оповещены, Екатерина Алексеевна. Будет спектакль, не будет — соберется народ. Пойдет молва. Этого вы хотите?

Никогда не знаешь, что может поколебать мнение высоких чинов. Поди предположи…

— Банкет — это правда нехорошо. Но поддержки уберете? Обещаете мне? Вартанян придет к вам утром на репетицию. Потом мне доложит. Костюм поменяйте. Юбку наденьте. Прикройте, Майя, голые ляжки. Это сцена Большого театра, товарищи…

… «Щелкунчика» отменили, вернули «Кармен». Второй спектакль так-таки состоялся!

…А любовное адажио и впрямь пришлось сократить. Куда деваться? На взлете струнных, на самой высокой поддержке, когда я замираю в позе алясекон, умыкая от зрителя эротический арабеск, обвивание моей ногой бедер Хосе, шпагат, поцелуй, — язык занавеса с головой грозного мессереровского быка внезапно прерывал сценическое действие, падая перед Кармен и Хосе. Нечего вам глазеть дальше!.. Только музыка доводила наше адажио до конца: Вартанян, который до начала своей политической карьеры играл в духовом оркестре на третьем кларнете и посему слыл великим знатоком музыкального театра, старательно выполнил приказ своего министра. Секс на советской сцене не пройдет…

И… счастливый эпилог.

На один из спектаклей 1968 года пришел Косыгин. После конца он вежливо похлопал из правительственной ложи и… удалился. Как он принял «Кармен» — неведомо.

Через день Родион волею судеб сталкивается на приеме с Фурцевой.

— Я слышала, что «Кармен» посетил Алексей Николаевич Косыгин. Верно? Как он отреагировал?.. — не без боязни любопытствует Фурцева.

Щедрин спонтанно блефует:

— Замечательно реагировал. Алексей Николаевич позвонил нам после балета домой и очень похвалил всех. Ему понравилось…

Лицо Фурцевой озаряет блаженная улыбка.

— Вот видите, вот видите. Не зря мы настаивали на доработке. Мне докладывали — многое поменялось к лучшему. Надо трудиться дальше.

…Хочу защитить Фурцеву. Не дивитесь. Она говорила то, что обязан был говорить каждый советский босс в стенах кабинета министра культуры СССР. Скажи он, она другое — вылетят пулей. Идеология! Система взаимозависимости!»

Эдвард Радзинский о Фурцевой

А вот что вспоминает Эдвард Радзинский о Фурцевой:

«Я не спал всю ночь. И решился. В половине десятого я стоял у министерства, ждал. Наконец появился директор «Ленкома»… Он спросил меня:

— А вы зачем пришли?

У меня хватило ума ответить:

— А меня пригласили.

— Да? — сказал он удивленно. — Ну, идемте.

Он был свой человек в министерстве. Так что, оживленно беседуя с ним, я прошел мимо охранника в святая святых. Не спросили ни пропуска, ни приглашения — идиллическое дотеррорное время…

Зал был полон. Все смотрели на дверь.

Наконец дверь распахнулась. Вошла (влетела!) она. Возможно, так медведица выбегает из берлоги после зимней спячки.

Екатерина Великая посмотрела на директора и сказала:

— Встаньте!

Он встал.

— Почему по городу развешены афиши «Сто четыре способа любви»? Молчите, — констатировала она трагически. — А знаете ли вы количество абортов среди несовершеннолетних?

Этого директор не знал.

— А я знаю… Я знаю количество абортов среди несовершеннолетних, — заговорила она каким-то плачущим голосом. — И вот в это время Театр имени Ленинского комсомола… Ленинского комсомола! — повторила она с надрывом, — …ставит пьесу про шлюшку, которая все время залезает в чужие постели…

Наступила тишина. И в этой тишине, не выдержав напряжения, я неожиданно для себя… встал. И сказал:

— Екатерина Алексеевна, там ничего этого нет. К сожалению, вы неправильно назвали пьесу. Она называется «Сто четыре страницы про любовь».

Потом я много раз думал, что такое тишина. Бывает тишина в лесу, тишина в горах… но такой тишины, как тогда, поверьте, не бывает. Это была какая-то сверхтишина, это было оцепенение, финал «Ревизора», остолбенение от страха…

Она спросила:

— Кто вы такой?

Я ответил:

— Я — автор пьесы.

Выглядел я тогда лет на шестнадцать, наверное. К тому же у меня росли (для солидности) какие-то прозрачные усы, поэтому вид был отвратительный.

— Вы член партии? — спросила она грозно.

Я ответил:

— Я — комсомолец.

По залу пронесся легкий смех. Они никогда не видели в этом зале авторов-комсомольцев.

Тут она как-то сбилась. Я это почувствовал. Она сказала:

— Сядьте. Мы дадим вам слово.

И предоставила слово… своему заместителю.

Замминистра был не очень оригинален. Он сказал, что сейчас, когда среди несовершеннолетних такое количество абортов, в Театре имени Ленинского комсомола (!) появилась пьеса, где «шлюшка постоянно залезает в чужие постели»…

Я поднялся и сказал:

— Ничего этого в пьесе нет. Вы тоже не читали пьесу.

Она:

— Я поняла. Вы решили сорвать наше заседание. Идите и выступайте…

И я начал рассказывать.

Я рассказывал правду, потому что я не писал пьесу про «шлюшку». Я писал пьесу о любви. О том, как люди попадают в любовь, как под поезд. Потому что любовь — это бремя, такое счастливое… и такое несчастное… И это всегда обязательное пробуждение высокого, а если этого нет — это не любовь. Это страсть, сексуальный порыв и прочее. Именно прочее, а сама любовь неповторима…

Потом министрами культуры перебывает много тухлых мужчин с тухлыми глазами. Их никогда нельзя будет ни в чем переубедить. А вот она была женщиной. Прекрасной женщиной. В этом было все. В этом, думаю, была и ее гибель…

И буквально через три минуты она повернулась ко мне, и я понял — слушает. И не просто слушает. Уже на четвертой минуте она подала мне воду.

— Не волнуйтесь, — говорила она нежно. А я видел ее руки с рубцами от бритвы… И когда я окончил, она долго молчала. Потом сказала:

— Как нам всем должно быть сейчас стыдно…

Я подумал, она скажет: «…что мы с вами не читали пьесы». Она сделала паузу и сказала:

— …что мы с вами уже не умеем любить.

…Мы шли по улице со счастливейшим директором театра. Он

сказал:

— Думаю, театров сто сейчас будут репетировать эту пьесу.

Он ошибся — их было сто двадцать.

* * *

Между тем приблизилась моя премьера во МХАТе. 31 декабря должен был состояться художественный совет, на котором ждали Екатерину Великую… Она тут же оказалась в эпицентре мхатовских страстей. Ее посетили две делегации великих артистов. Первая объясняла ей, как ужасна пьеса, а вторая (столь же страстно), как она хороша.

…Когда я вошел на обсуждение, уже шел бой. Великий Грибов пытался толкнуть великого Ливанова. Они кричали одновременно. Меня встретили воплем:

— Пусть отправляется к своему Ефросу!

Екатерина Алексеевна всплескивала руками:

— Родные мои! Да плюньте вы на эту пьесу! Берегите ваше драгоценное здоровье! Оно нужно стране!

Наконец все утихли. И началось обсуждение. И они бросились друг на друга! Один перечень участников боя — это история театра. Топорков, Ливанов, Кедров, Станицын, Тарасова, Массальский, Георгиевская, Степанова, Грибов… Все эти бессмертные присутствовали и бились беспощадно!

Когда звуки сражения утихли, Екатерина Алексеевна поняла: ситуация страшная. Она не могла сказать ни «за», ни «против». И тогда она посмотрела в зал. Взор ее был нежный, с поволокой.

Она стала совершенно обольстительной. И каким-то грудным голосом (можно представить, как она была обворожительна в иные моменты) сказала:

— Дорогие мои, любимые мои… вы мне доверяете?

На этот опасный вопрос требовался незамедлительный ответ.

— Да! — заторопилась Алла Константиновна Тарасова.

— Да! — дружно закричали вослед друзья и враги.

— Тогда я буду редактором этой пьесы, — сказала Екатерина Алексеевна. — Может быть, мне удастся помочь… Я отдаю свои выходные, мы будем работать.

И началась работа над пьесой. Точнее, все забыли про пьесу. Екатерина Алексеевна рассказывала про свою любовь к Клименту Ефремовичу Ворошилову, про то, как она была ткачихой, и как все они верили в победу коммунизма. Потом про дружбу с Надей Леже, великий муж которой тоже верил в победу коммунизма, как и наши ткачихи. А вот Надя верит не очень… Но с каждой

встречей Екатерина Алексеевна ее убеждает все больше и больше… Короче, много было интересного. И в конце дня даже вспомнили про пьесу. Фурцева сказала:

— Родной, да неужели вы не можете ничего придумать? Ну не может же на сцене Московского художественного театра стоять кровать! А у вас написано, что они лежат в кровати… Вы догадываетесь, что это невозможно?

…Убрали кровать. Убрали название «Чуть-чуть о женщине» (в этом мхатовцам почему-то мерещилось что-то неприличное). И еще что-то подобное и важное…

И вышел спектакль, где замечательно играла Доронина… И была премьера, и я был счастлив».

Неоднозначная Фурцева

…Многие отмечают простонародное происхождение Екатерины Алексеевны, говорят: что с нее взять — ткачиха! Н. С. аниславский, к примеру, был фабрикантом, а Шаляпину и Горькому доводилось ходить в бурлаках. Что с того?

Политик Александр Яковлев считал ее одним из сильнейших министров культуры. Виктор Розов отзывался о ней так: «Она была абсолютно интеллигентная, образованная женщина, за словом в карман не лезла. Но главное — внутренне свободная».

Кинорежиссер Владимир Наумов вспоминал, как Фурцева критиковала их с Аловым картину «Мир входящему», а потом… послала ее на фестиваль в Венецию. «У нее была интуиция, и было какое-то женское — даже не знание, а восприятие определенных вещей в искусстве. Она сделала много хорошего, несмотря на то, что проводила политику, естественно, контролирующую искусство. Фактически она выполняла роль цензора в искусстве. Но при этом спасла картину Чухрая «Чистое небо». Как она критиковала нас на коллегии! Покрывалась пятнами. А когда кончалось заседание, вдруг приглашала: «Алов, Наумов! Зайдите ко мне, пожалуйста». Мы заходили к ней в кабинет, уже без всех. «Кофе хотите?» Мы были крайне удивлены! «Ну, да, — говорим, — хотим, Екатерина Алексеевна». Хотя уж не до кофе! И вот между нами и министром начинался доверительный разговор. «Где вы видели эти драные, вонючие, паршивые шинели, в которых у вас ходят солдаты на экране? Где вы видели всю эту вонь, грязь и так далее?» — горячилась она, в основном обращалась к Алову. И я видел, как у него потихонечку начинает белеть шрам. Он не выдержал и жестко произнес: «Екатерина Алексеевна! Вы видели шинели с Мавзолея, а я в этой шинели проходил всю войну и знаю, как она пахнет, насколько она жесткая. Посему по поводу шинели не надо делать нам замечаний». Екатерина Алексеевна обижалась, но быстро отходила. Когда мы вернулись из Венеции, получив три премии, в том числе за лучшую режиссуру, она пригласила нас к себе: «Ну, вот, видите, мы с вами победили!» Как будто мы втроем, вместе с ней, сняли эту картину. А если честно, так оно и есть. Ведь можно сказать, она спасла фильм».

О ее компетентности в искусстве спорят до сих пор. Драматург Иосиф Прут удивлялся: «В операторском искусстве, возможно, она ничего не понимала. Но в искусстве жизни, может быть, понимала. Во всяком случае, была очень доброжелательна».

Лидия Ильина делила руководителей на созидателей и

разрушителей. Фурцеву относила к первому типу: «Вот это типичный представитель созидателя. Если посмотреть, что она оставила после своего пребывания в роли министра». О строительстве театра Натальи Сац она вспоминала так: «Фурцева собирала строителей — всегда с улыбкой: «Ну, миленькие мои, ну, как же? Ну, надо, поймите! Ведь первый в мире! А вы посмотрите на Наталью Ильиничну! Ведь она тоже первый в мире такой человек! Ведь в восемнадцать лет она уже руководила театром!» И начинала рассказывать, кто такая Сац. Наталья Ильинична, конечно, сидит, кивает. Фурцева продолжает: «Ну, дорогие, ну, пожалуйста! Мы вас очень просим!» Она умела использовать свое обаяние для дела, не для себя».

Театровед Вера Максимова считала, что до Фурцевой можно было докричаться, достучаться. Хотя были у нее и свои любимчики.

К примеру, одним из таких любимчиков Ролан Быков считал Сергея Бондарчука. А вот самому Ролану Быкову повезло гораздо меньше, на «звездную роль» Пушкина его не утвердили. Во МХАТе готовился спектакль по пьесе Леонида Зорина «Медная бабушка». Ефремов объявил конкурс на роль Пушкина. Пробовались многие: Кайдановский, Даль, Всеволод Абдулов. Но в Быкове режиссер увидел то, что нужно. Автор пьесы считал, что в роли Пушкина Быков словно исповедуется. Исповедуется за свои прожитые 40 лет. Он очень прочувствовал пушкинский образ. И боль гения, и комплекс маленького человека.

Сам Ролан Быков считал, что эта роль могла стать одной из его лучших ролей, «а, может быть, и самой лучшей ролью». Но Фурцева Быкова не утвердила. Ее убеждали, что игра Ролана — редкостное попадание, что другого такого исполнителя не найти. Екатерина Алексеевна «уперлась», не уступила…

* * *

Действительно, у Фурцевой были свои симпатии и свои антипатии. А если кого-то невзлюбила, или что-то не по ней, пиши пропало… Например, не захотела дать звание народной артистки СССР Серафиме Бирман — и все! Как ни молили ее об этом Завадский, Марецкая, Плятт, к которым она благоволила, — ни в какую!

Чем не угодила министру Серафима Германовна — интересный театральный режиссер, педагог, актриса — совершенно непонятно, но факт остается фактом…

А на фестивале в Каннах произошел случай, чуть было не

стоивший дальнейшей карьеры Ларисе Лужиной. На приеме ее пригласили на танец… твист, который считался в СССР непристойным и был почти запрещен.

Когда Лариса вернулась в Советский Союз, на столе у министра культуры Фурцевой уже лежал французский журнал «Пари Матч» с фото Лужиной и заголовком «Сладкая жизнь советской студентки». Разгневанная Фурцева вычеркнула «неприличную» актрису из дальнейших поездок, и кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы не Герасимов, который спас молодую талантливую актрису от дальнейшего разноса. Сергей Аполлинариевич явился на прием к министру и нейтрализовал тот инцидент.

Но известно и другое. Галина Волчек любит вспоминать, как помогла им Екатерина Алексеевна с пьесой Шатрова. Спектакль «Современника» «Большевики» по пьесе Шатрова не понравился влиятельному институту марксизма-ленинизма. И это в тот момент, когда премьера стояла во всех праздничных афишах. Галина Волчек и Олег Ефремов ринулись к Фурцевой.

Вспоминает Галина Волчек:

«Вбегаем в приемную, и нам показалось, что министр отсутствует. Даже секретарши не было на месте. По-мальчишески решили подсунуть записку под дверь кабинета. Но чем писать? Никак не могли найти ни карандаша, ни ручки. Ефремов — совсем белый, Шатров дергается. И вдруг пронзило: губной помадой! Я написала: «Дорогая Екатерина Алексеевна, у нас катастрофа! Театр «Современник». Подсунули. Вдруг открывается дверь, вылетает Фурцева, а в кабинете у нее полно народу. Мы успели сказать о спектакле «Большевики» пару слов: «не имеет лита», «и лит не идет», «и они не хотят» и все такое… Она вошла в кабинет и объявила: «Извините, пожалуйста, короткий перерыв». Все вышли, Фурцева впускает нас к себе, хватает трубку, начинает звонить Романову — главному чиновнику по так называемому литу, именно он должен был дать «добро» на спектакль. Министр в накале повышает голос, срывается на крик: «Что такое? В чем дело? Почему отказываете? Ах, вы напишете! Пишите. Однажды ваша жалоба на меня не сработала, я все равно орден получила! Но что вас сдерживает? Я доверяю этому коллективу, этим артистам! И своей властью министра разрешаю играть спектакль «Большевики»! Да-да, завтра!»

Напряженная мизансцена длилась минуту. Наша защитница бросает трубку, встает из-за стола, и мы на пару, как бабы в деревне, едва не заголосили».

Скандал в Манеже

…Не так давно ушел из жизни Андрей Вознесенский. В огромном количестве статей-некрологов вспоминали тот разгон, который устроил молодому поэту Никита Хрущев на встрече с интеллигенцией в Кремле в марте 63-го года. До этого в декабре 62-го случилось «кровоизлияние в МОСХ», как говорили остряки того времени, то есть скандал, устроенный Хрущевым в Манеже на выставке, посвященной 30-летию Московского отделения Союза художников.

Вот как об этом писала искусствовед Нина Молева:

«…Ночь на 1 декабря 1962 года. Залито светом здание Манежа. Распахнуты двери главного входа. Огромный, гудящий толпой улей. Никаких пропусков. Никаких вопросов. Одна из уборщиц: «Новые картины? На втором этаже»…

Несколько очень пологих маршей. Вместительный предбанник перед большим центральным залом. По сторонам двери в подсобки. Студийцы в зале. В подсобке побольше расставляет скульптуры Э. Неизвестный, в маленькой — три его приятеля. Разбросанные прямо на полу — экспозиционный прием — и приставленные к стенам абстрактные графические композиции…

На поставленных посередине зала стульях для будущих зрителей член ЦК Д. А. Поликарпов. Чуть растерянный. Будто оглушенный. На лестнице встреча с Е. А. Фурцевой, несмотря на ночной час, министр решила сама посмотреть новые залы. Шумная свита. Игриво-возбужденный голос. Шутка о полуночниках. О горе и Магомете: «Почему сами никогда ко мне не приходили?» Смех…

…Третий час ночи. Во дворе Белютину, организатору и куратору выставки, пришлось пропустить черную «Волгу»: куда-то спешно уезжал помощник Хрущева по вопросам культуры, маленький незаметный человечек в очках.

…10 часов утра 2 декабря. За несколько минут последний обход помещений начальником личной охраны. Вместе с перезвоном курантов кортеж машин. Хрущев. Серое лицо. Равнодушный взгляд. В дверях, нехотя: «Ну, где у вас тут праведники, где грешники — показывайте». Протокольно выверенный маршрут — вдоль левой стены. На расстоянии почтительное окружение: Кириленко, Косыгин, Полянский, Андропов, Демичев, Ильичев, Шелепин. Кроме них — первый секретарь МГК Егорычев, комсомольский вождь Павлов, министр культуры Фурцева, главные редакторы центральных газет. На

первых ролях — Суслов и Серов. Здесь же секретари Союза художников. Первая задержка у картин, первое объяснение, и голос одного Серова вперебивку с почти неслышным шепотком Суслова…

Заранее составленный список имен, заранее намеченные картины — опытный «экскурсовод» вел назубок выученную экскурсию. Хрущев сразу же взрывается, не выбирая выражений для проявления своих эмоций:

…«Какашки в горшке моего внука» — о «Натюрморте с картошкой» Фалька. «Говно», «дерьмо» — о картинах, отступавших от фотографического принципа. «Педерасты несчастные» — о художниках, нарушивших догмы соцреализма. Брань то затихала, то вспыхивала с новой силой. Экскурсия по первому этажу затягивалась. Прошло больше трех часов с начала осмотра… Премьер направляется к лестнице. Теперь Серов растворяется среди свиты, бразды правления перешли в руки одного Суслова…

В воздухе застыло напряжение. Чему-то предстояло произойти… И произошло… Чужаки, инаковидящие, инакочувствующие и инакомыслящие. Шелепин с Павловым: «На лесоповал их всех…». И заключение премьера: «Я как Председатель Совета Министров заявляю: советскому народу не нужно такое искусство! Да, я ликвидировал культ, но в области культуры полностью разделяю позицию Сталина. Так что имеется в виду — его аппарат цел и находится наготове». Премьер направился к выходу».

* * *

Даже сегодня, когда читаешь о произошедшем в Манеже, становится стыдно за наших власть предержащих.

Но нельзя забывать, что Екатерине Алексеевне «руководилось» нелегко: с одной стороны, она должна была соответствовать должности советского министра периода «развитого социализма», с усердием выполнять все задания партии в тот период, когда партия взяла направление на «зажим» интеллигенции, и особенно творческой, с другой — будучи неравнодушным человеком, она старалась понять представителей разных течений в искусстве, в том числе в искусстве начала XX века, современной живописи, вызывавшей возмущение, раздражение многих.

Сама она, конечно, предпочитала реализм — авангардные формы ее просто пугали. Так, в 1966 году Екатерина Алексеевна

пыталась запретить в ЦДРИ выставку художника Александра Тышлера. Его картины с известной долей гротеска и сюрреализма (например, на картине «Фашизм» он изобразил фантастического льва, ощетинившегося множеством клинков) были далеки от традиций соцреализма. Но художник Иогансон сказал ей: «Вы напрасно так шумите, напрасно, потому что Тышлер — очень хороший художник, он совсем не формалист!» Фурцева поверила авторитету народного художника СССР и успокоилась. Выставка состоялась.

Зато когда она узнала, что знаменитая «Джоконда» покидает Лувр и отправляется на выставку в Японию, сделала все, чтобы ее смогли увидеть в Москве. Необходимо было позаботиться о безопасности картины, для этого требовались особая рама и пуленепробиваемое стекло. Фурцева дружила с космонавтами, а потому обратилась к ним за помощью. За семь дней и ночей изготовили специальное пуленепробиваемое стекло и раму. Так «Джоконда» оказалась в Москве, что стало грандиозным культурным событием.

Екатерина Алексеевна была достаточно умной женщиной, чтобы впитывать интересные идеи и предложения. А потом со страстью, горячо их «пробивала». Например, как-то однажды Ойстрах обмолвился о международных музыкальных конкурсах, которые проводятся в некоторых западных странах: «Как жаль, что у нас таких нет». И вскоре подобные конкурсы стали в Советском Союзе традицией. Именно в годы «правления» Екатерины Алексеевны стали проводиться Международный конкурс имени Чайковского (Ван Клиберн до сих пор с благодарностью вспоминает Екатерину Алексеевну, которая вместе с Эмилем Гилельсом отстояла его победу) и Международный конкурс артистов балета, жюри которого возглавляла такая мировая величина, как Алисия Алонсо.

Фурцева дружила и с известной французской художницей Надей Леже.

Знакомство, а потом и дружба с Надей Леже, русской по происхождению художницей, оказавшейся в Париже и близко знавшей почти всю элиту французского искусства, помогли Фурцевой в установлении культурных связей между СССР и Францией. Советский министр познакомилась с Луи Арагоном, Пабло Пикассо, Морисом Торезом…

Надя представила Екатерине Алексеевне своего земляка из Витебска Марка Шагала, с которым у Фурцевой сложились теплые отношения. Екатерина Алексеевна искренне сокрушалась, что известный художник живет не на родине: «Как жалко, что вы там, а не здесь, иначе вы бы уже давно были народным художником

СССР». Но все звания и титулы не заменили бы Шагалу встречи с его родным Витебском. Этот город значил для него очень много. Во время пребывания в Советском Союзе художник не смог поехать в Витебск, а, может, не захотел: ведь в прошлое, как считается, вернуться невозможно. Роберт Рождественский, вспоминая встречу с Шагалом, удивлялся тому, что художник то и дело разочарованно его спрашивал: «Так вы не из Витебска?».

Я не уверена, что искусство Шагала, человека, «движущегося вперед с лицом, обращенным назад», было близко Фурцевой, но она умела и хотела учиться, а еще доверяла людям, которых любила. Доказательством этому служит сам факт приезда в СССР всемирно известного мастера и представление его полотен в Третьяковской галерее.

Естественно Фурцева пропагандировала в СССР и творения Нади Леже, организовывала заказы на ее работы — витражи, мозаику.

В те нелегкие моменты, когда жизнь с Фирюбиным дала трещину, именно подруге из Франции Фурцева рассказывала о своих семейных и личных проблемах. Уже после смерти Екатерины Алексеевны художница сделала ее прекрасный мозаичный портрет для надгробия, но Светлане — дочери Фурцевой — он почему-то не понравился. Надя была очень расстроена. Сейчас этот портрет находится в библиотеке имени Фурцевой.

Конфликты с «Таганкой»

…Спектакль Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана» посмотрел в Щукинском училище Анастас Иванович Микоян. Когда Екатерина Алексеевна узнала, что на Анастаса Ивановича произвел хорошее впечатление этот спектакль, она написала записку своему начальнику Михаилу Суслову, заведующему идеологическим отделом ЦК, о том, что надо бы помочь выпускникам, которые поставили талантливый спектакль. Надо — обязательно! — чтобы у них был свой театр. Театр на Таганке появился благодаря именно этой ее записке Суслову.

Но отношения Екатерины Алексеевны Фурцевой с Юрием Петровичем Любимовым были далеко не безоблачными. Не все, что ставилось на Таганке, ее устраивало. Возможно, потому, что Фурцева не совсем понимала искусство условной формы. Ни одну постановку не допустили к зрителю без унижения коллектива. «Доброго человека из Сезуана» уже на первых сдачах ругали за формализм, трюкачество, осквернение знамени Станиславского и Вахтангова. «Десять дней, которые потрясли мир» — за грубый вкус и субъективное передергивание исторических фактов, за отсутствие в концепции руководящей роли партии. «Павших и живых» запрещали, перекраивали, сокращали…

Фурцевой не понравился и другой любимовский спектакль — «А зори здесь тихие». Во всех инстанциях сначала его одобрили, но вдруг опомнились…В ЦК спектакль объявили пацифистским. Чиновники от культуры пытались убедить режиссера в том, что старшину убить можно, а девушек никак нельзя, ну, в крайнем случае, только двух. Особенно рьяно настаивала на снятии постановки Екатерина Алексеевна. Но случилось так, что повесть Бориса Васильева, по которой был поставлен спектакль, вдруг неожиданно для всех получила первую премию ГЛАВПУРа — Главного политического управления армии. Ну, и тут уж никто, и даже сама Фурцева ничего не смогли поделать. Как мы знаем, этот спектакль вошел в историю театра.

Скандал разразился и со спектаклем по пьесе Бориса Можаева «Живой». Министр увидела в этом вызов господствующей идеологии и запретила его сразу, после первого акта.

Вспоминает Валерий Золотухин:

«Объявили, что скоро просмотр «Живого». Нам сказали, что будут смотреть один раз. «Если до этого мы смотрели ваши спектакли по несколько раз, делали поправки, замечания, то здесь вопрос будет решен сразу: «да или нет»». Поэтому нас

предупредили: «Уберите из спектакля все, что может вызвать малейшее раздражение». Ну, Любимов, естественно, ничего не убрал, потому что, если убирать, тогда весь спектакль надо убирать. И не показывать вообще.

Театр был объявлен «на режиме». Двери опечатали.

Приехал в театр, увидел на сцене одну только фигуру. Это был Любимов. Он держал в руках мой реквизит — костыль — и крестился. И что-то такое шептал. Я это запомнил на всю жизнь. Дело-то в том, что он коммунист, и в тот момент Юрий Петрович не предполагал, что рядом кто-то есть. Что он просил у Бога? Чтобы министр пропустил спектакль? Больше, как мне кажется, он просить ничего не мог. Когда закончился первый акт, возникла жуткая пауза. Екатерина Алексеевна спросила не глядя: «Автор, вам это нравится?» Можаев: «Да, и очень». «Позовите сюда секретаря партийной организации!» Его не оказалось. Но нашли. И начался разгром.

Фурцева: «Я ехала сюда, честное слово, с хорошими намерениями. Мне хотелось помочь вам уладить все. Но нет, я вижу, что у нас ничего не получается. Вы абсолютно ни с чем не согласны, совершенно не воспринимаете наши слова». Обращается к Можаеву: «Дорогой мой, вы еще ничего не сказали ни в литературе, ни в искусстве, чтобы так себя вести». Это она говорит Можаеву, известному писателю!

Любимов: «Зачем вы так говорите? Одному это нравится, другому — то. Зачем же так огульно говорить об одном из лучших наших писателей?»

Можаев: «Екатерина Алексеевна, я пишу комедию, а значит, по условию жанра, отрицательные персонажи должны быть карикатурными, смешными. Именно такими их играют актеры».

Фурцева: «Какая же это комедия?! Это самая настоящая трагедия».

В этой реплике вся Фурцева: даже в чем-то не разбираясь, она могла улавливать суть. Ведь можаевская вещь действительно была трагедией. «Нет, нет, нет! Спектакль этот не пойдет. Это очень вредный спектакль. Даю вам слово: куда бы вы ни обратились, вплоть до самых высоких инстанций, вы поддержки нигде не найдете».

А Любимов говорит: «Спектакль смотрели уважаемые люди, академик Капица, например. У них иная точка зрения».

Фурцева: «Не академики отвечают за искусство, а я».

* * *

Юрий Любимов рассказывал, что на прогоне не разрешили присутствовать ни художнику спектакля Давиду Боровскому, ни композитору Эдисону Денисову. С трудом прорвался Андрей Вознесенский.

«После последней сцены первого акта, когда артист Джабраилов в роли ангела пролетал над Кузькиным, Фурцева прервала прогон, — рассказывал Юрий Петрович. — Обратившись к маленькому, лохматому Джабраилову, спросила: «И вам не стыдно участвовать во всем этом безобразии?!» Тот испуганно ответил: «Нет, не стыдно». «Вот видите, — обратилась она ко мне, — до чего вы всех довели». Вознесенский пытался что-то сказать: «Екатерина Алексеевна, все мы, как художники…» Она ему: «Да сядьте вы, ваша позиция давно всем ясна! И вообще как вы сюда пробрались? Одна компания. Ясно. Что это такое нам показывают! Ведь иностранцам никуда даже ездить не надо, а просто прийти сюда (а они любят сюда приходить) и посмотреть, вот они все увидят. Не надо ездить по стране. Здесь все показано. Можно сразу писать». Она очень разволновалась…

— Что вы можете сказать на все это? Вы что думаете: подняли «Новый мир» на березу и думаете, что далеко с ним ушагаете?»

На сцене висел на березках «Новый мир» с повестью Можаева. А я не подумал, и у меня с языка сорвалось:

— А вы думаете, что с вашим «Октябрем» далеко уйдете?

Она не поняла, что я имел в виду журнал «Октябрь», руководимый Кочетовым. Потому что тогда было такое противостояние: «Новый мир» Твардовского — и «Октябрь» Кочетова. А у нее сработало, что это я про Октябрьскую революцию сказал. И она сорвалась с места: «Ах вы так… Я сейчас же еду к Генеральному секретарю и буду с ним разговаривать о вашем поведении. Это что такое… это до чего мы дошли…» И побежала… С ее плеч упало красивое большое каракулевое манто. Кто-то из ее сопровождающих подхватил его, и они исчезли…

Через некоторое время состоялся еще один прогон «Живого», на котором собрались два десятка человек, в том числе и Екатерина Фурцева. После спектакля состоялось обсуждение увиденного. Большинство собравшихся высказались за то, чтобы спектакль наконец появился в репертуаре театра, даже Фурцева в своей речи отметила, что по сравнению с предыдущим разом эта версия выглядит приемлемо. Пользуясь моментом, министр не преминула коснуться и присутствующего на обсуждении Высоцкого:

— Недавно слушала пленку с записями ваших песен. Много такого, от чего уши вянут, но есть и прекрасные песни. Например, «Штрафные батальоны» и еще некоторые…

Этот прогон был явно следствием каких-то движений «верхов» навстречу «Таганке». Но, хотя приход Фурцевой и вселил надежду, длилась она недолго. Потепление в верхах быстро сменилось на очередное похолодание, и решение о выпуске спектакля было вновь отложено до лучших времен. Наступили они не скоро — в самом конце 80-х…»

Олег Табаков о Фурцевой

Если отношения Фурцевой с Таганкой были непростыми, то «Современнику» она очень помогала, когда у них возникали серьезные проблемы. Сразу после ее прихода в министерство стало ясно: новый министр намерен отстаивать самостоятельность своего ведомства. Она не принимала горячность и поспешность в принятии решений, что было свойственно Хрущеву. На конференции в Министерстве культуры в июле 1963 года Фурцева сказала: «Должна быть уверенность, а не шараханье то в одну сторону, то в другую». Заметьте, эту фразу министр культуры произнесла после знаменитых встреч Хрущева с творческой интеллигенцией.

Вот что вспоминает Олег Табаков:

«По тем временам женщина в верховных органах власти была нереальным явлением. В этом феномен Екатерины Алексеевны. А для меня она была, прежде всего, удивительно красивой и мудрой женщиной.

Екатерина Алексеевна неоднократно прикрывала спину Олега Ефремова. Он, будучи грешен, как все мы, иногда позволял себе отклонения от норм в употреблении алкоголя. Часто бывал просто на грани фола. Знаю, как дважды она отводила от него беду. А в 1970 году его назначили главным режиссером Московского художественного театра. При поддержке Фурцевой. Кто-то должен был за него поручиться, а это весьма не просто. Борьба между городским комитетом партии и Министерством культуры была очень жесткой. Одна деятельница Московского горкома даже предлагала мне сдать Олега, предъявив доказательства его «болезни». Я позвонил Екатерине Алексеевне, рассказал об этом, она спросила меня: «Ты послал ее?» Я говорю: «Да!» — «Вот так и надо!» И должен сказать, она успела увидеть правильность своего решения — первые десятилетия деятельности Олега были чрезвычайно активными, интересными, разнообразными. Он привлек по тем временам едва ли не самую лучшую труппу в Советском Союзе: Смоктуновский, Евстигнеев. И самая интересная, гонимая и преследуемая режиссура: Лев Додин, Кама Гинкас. Решиться на это надо было! Если бы у Олега не было поддержки Екатерины Алексеевны, вряд ли бы у МХАТа была такая история. Повторяю, делала все это — ЖЕНЩИНА!

Мне еще не было 35, когда меня назначили директором театра «Современник». Как? Не без ее ведения, конечно. Очень Фурцева симпатизировала и Галке Волчек. Она, еврейка, беспартийная, женщина, все-таки была утверждена на должность

главного режиссера «Современника». Опять-таки не без помощи Екатерины Алексеевны. Если человек вызывал у нее доверие, его национальность, партийность не были важны. Екатерина Алексеевна довольно круто умела брать руль на себя. При этом она была веселым, лукавым человеком, но не хитрым. Знала, что красивая. Это сказывалось в том, как она одевалась: носила нейлоновые кофточки с черненьким башмачным шнурком — вроде бы строже не бывает, а все равно она была очень женственна. А уж это либо есть, либо нет — вне зависимости от должности».

* * *

Олег Павлович Табаков с юмором рассказывал о скандале со спектаклем «Голый король», который вызвал, с одной стороны, высокую оценку в некоторых газетах, а с другой — недоброе отношение наверху. На «Голого короля» в «Современник» пожаловал министр культуры Михайлов, предшественник Фурцевой. После первого акта он обвинил театр в пошлости и вечером того же дня продиктовал приказ о закрытии театра. Но вот незадача, приказ оказался «липой», так как именно к часу его подписания Михайлов уже министром не был, а был назначен послом в Польшу. Такие синкопы там наверху бывали регулярно. Но на этом история не закончилась. «Новый министр культуры Фурцева, — рассказывал Олег Павлович, — заготовила два варианта расправы над театром: первый — часть труппы отдается Охлопкову (руководитель театра имени Маяковского), остальных — «разогнать в шею». Второй вариант — отправить всю труппу в город Муром, дескать, там пустует театральное здание. Артисты «Современника», которые к этому времени в некоторых эшелонах власти стали привечаться, разузнали, что накрутил Фурцеву первый секретарь ГК КПСС Москвы. Записались к нему на прием. Но как раз в день намечаемой встречи его тоже сняли с поста. Вот и считай, что нечистой силы не существует.

Однажды Михаил Шатров, Олег Ефремов и художник театра Кириллов, находясь в Болгарии по случаю постановки пьесы «Большевики» в Софийском театре, допустили якобы идеологически вредные высказывания. Ефремов что-то не очень лестное про тех, кто хотел пьесу зарезать в Москве, а Кириллов подлил масла в огонь, что, дескать, ему очень нравятся чехи, нравится их стремление к демократизации…

С этой «информацией» от бдительных болгарских «друзей» ознакомили Фурцеву. Мы думали, что нам пришел каюк… Через

некоторое время в ЦК пришел весьма красноречивый ответ Екатерины Алексеевны: «В Министерстве культуры СССР с т.т. Шатровым М. Ф. и Ефремовым О. Н. проведена обстоятельная беседа, в которой было указано на необходимость более ответственного поведения за рубежом».

Но на самом деле никакой обстоятельной беседы не было, просто Фурцева, соблюдая правила партийной игры, сделала так, как ей хотелось сделать. Иногда Екатерина Алексеевна, о которой я не устаю говорить добрые слова, казалась непредсказуемой, но мы чувствовали, что правда будет за нами».

Фурцева, Ефремов и МХАТ

Конечно, МХАТ имени Горького всегда занимал особое положение. Никакому другому театру не уделялось столько внимания со стороны министерства и отдела культуры ЦК. Такое пристальное внимание объяснялось тем, что во всем мире систему Станиславского изучают как передовую и обсуждают проблемы нашего МХАТа. Это прекрасно, что советский театр служил примером для мирового театрального искусства. К тому же известно, что Сталин любил МХАТ и всячески ему покровительствовал. Отсюда и небывало высокие актерские ставки, и двухмесячный оплачиваемый отпуск, и государственные дачи, и бесконечные награды. Но все это не просто так, из любви к чистому искусству, а в обмен на послушание и верноподданничество. И театр, обладавший уникальной труппой, еще при Михайлове стал быстро чахнуть. Проблема состояла и в том, что после смерти Владимира Ивановича Немировича-Данченко в 1943 году в театре не осталось признанного артистами и зрителями лидера, руководителя с непререкаемым авторитетом. А в таком большом театре, каким был МХАТ, при таком количестве ведущих актеров с их амбициями МХАТу необходим был сильный главный режиссер.

Мешала и сложившаяся в коллективе атмосфера всеобщего недоверия. В 1963 году Фурцева обратилась в ЦК с предложениями об омоложении МХАТа, о перетарификации труппы, переводе на пенсию старых артистов, приглашении в театр новых режиссеров. А поскольку отдел культуры ЦК еще в 1957 году выступил с инициативой создания молодежно-театральной труппы одаренной артистической молодежи и студийцев МХАТа, это по сути дела явилось окончательным решением о создании «Современника».

Перемены во МХАТе начались в 70-м году с приходом в должность главного режиссера Олега Ефремова. Кстати, пригласить его решили «старики» театра, собравшись в доме Михаила Михайловича Яншина.

Екатерина Алексеевна поручила Кухарскому поговорить с Ефремовым. Василий Феодосьевич пригласил его к нам домой, они попили чайку. Я предложила мужчинам чего-нибудь покрепче. Поговорили, подискутировали. Но окончательного согласия Олег Николаевич в тот вечер не дал. Объяснил, что «старики» настаивают, чтобы «Современник» в полном составе влился во МХАТ. А он этого не хотел бы. Говорил о студиях Художественного театра, существовавшего в десятые — двадцатые

годы. Тогда их руководители не пошли на уговоры Станиславского и Немировича-Данченко и продолжали работать самостоятельно.

Через некоторое время решение в высоких инстанциях приняли без согласия Ефремова, но «Современник» он отстоял. А его контакты с Фурцевой не прерывались и после перехода во МХАТ. Она приходила на каждую премьеру, обсуждала вместе с труппой планы театра.

Помню, во время того разговора у нас дома Кухарский сообщил Олегу Николаевичу, о чем тот не знал: против его назначения во МХАТ был глава горкома партии Гришин. Уже после того как было принято окончательное решение, Гришин позвонил Василию Феодосьевичу и с возмущением произнес: «О чем думает Фурцева? «Современник» Ефремов уже развалил, теперь будет доразваливать МХАТ!»

Позже Олег Ефремов вспоминал о Фурцевой, как о руководителе, которая отличалась от многих других чиновников тех времен. Заместители писали ей тексты выступлений, но она демонстративно отодвигала их в сторону. Фурцевой важна была обратная связь, вовлечение людей в заинтересованный диалог. Такими были, по воспоминаниям Ефремова, все встречи с труппой «Современника». Он называл ее «человеком в процессе», с которым можно было спорить. Да, иногда она была несправедливой, в сердцах вспыхивала, но к возражениям прислушивалась, бывало, что признавала свою неправоту, но если была уверена в своей правоте, стояла на своем до конца. Побеждало в ней главное — творческое, человеческое, чисто женское. Ефремов говорил ей, что если министром культуры и должна быть женщина, то только такая, как она сама, — эмоциональная, воодушевленная, способная убеждать. «Мужики к этому делу не подходят, — шутил Олег Николаевич, — и еще у вас в генах “рабочая косточка”. Скажете что-нибудь по-народному простое, как обыкновенная русская женщина, а нам, поднаторевшим в театральных университетах, это и в голову не приходило».

* * *

Во время одной из встреч, по воспоминаниям Ефремова, они, чуть выпив, серьезно поговорили «за жизнь». Екатерина Алексеевна поведала ему о главном: чувствует себя одинокой, недолюбила, не заживает обида, что вывели из Президиума ЦК. Вздохнула: «Обиду скрываю, говорю только вам». Вообразила, что

больна неизлечимой болезнью, и тут же, приподняв юбку, показала очаровательные ножки. Она всегда ощущала себя женщиной до мозга костей. Но при этом, когда однажды молодой Олег Ефремов, прощаясь, хотел поцеловать ей руку — Екатерина Алексеевна только-только вступила на министерский пост, — она отдернула ее, вспыхнула как маков цвет: «Что вы, товарищ Ефремов! Это ни к чему, ни к чему», и строго на него посмотрела. Это произошло, повторяю, в самом начале ее министерского статуса. Потом уже по Москве стали гулять слухи, что Фурцева-де благоволит к Олегу, что благодаря ей он только и держится.

Сам Олег Ефремов говорил по этому поводу такие слова: «Вы спрашиваете, почему она так активно, яростно защищала «Современник»? После долгих лет родился молодой театр, ищущий, с четкой творческой программой, с труппой талантливых актеров, смелым репертуаром. Все это увлекало Екатерину Алексеевну. Вначале она интуитивно почувствовала, а затем взвешенно, последовательно решила: театр заслуживает поддержки. Всего не расскажешь… Предшественник Екатерины Алексеевны в Министерстве культуры Николай Михайлов долгие годы вел дело к расформированию труппы, к закрытию «Современника». На этом настаивал горком партии. Направили в театр комиссию, все повисло на волоске. Последним толчком к решительному противодействию Фурцевой стала очень хорошая, доказательная статья критика Караганова в «Литературной газете». Помогала Фурцева и в осложнениях с выпуском «Обыкновенной истории» по Гончарову.

При Фурцевой мы после долгих мытарств обрели свое помещение на Маяковке. Она обратилась к Косыгину, и он с готовностью поддержал.

Не было в ней ни тени от монстра, живущего только ради карьеры. И в большей мере она была «белой вороной» на фоне высших партаппаратчиков. Смело кидалась в бой и пережила из-за этого большие невзгоды, особенно в последний период жизни».

Отвечая на вопрос американского писателя Александра Минчина о Фурцевой, Олег Ефремов сказал: «Я глубоко убежден, что в то время, то есть в 60 — 70-х годах, в нашей стране должна была быть министром именно женщина. Все-таки женщина более эмоционально воспринимает искусство. В чем, например, беда нашей молодой театральной критики? Только в одном — что они неэмоционально воспринимают происходящее в театре. Фурцева относилась ко мне с уважением, шла на риск. Спектакль «Большевики» она взяла на себя, вопреки мнению цензуры и главного цензора Романова. При мне по телефону с ним ругалась. И я им звонил: «Как же так, братцы, вы, ЦК, находитесь на

площади Ногина и требуете, чтобы я вымарал из спектакля Ногина за то, что он вышел из партии из-за несогласия с однопартийной системой».

Но я не устаю повторять, что она могла, по словам Симонова, сказать «да», но могла сказать и «нет». И за это могла ответить. Она мне многое не разрешила, но многое я сделал с ее помощью…»

Михалков, Глазунов и Фурцева

Сергей Михалков говорил, что Фурцева далеко не все понимала и, не понимая, выносила подчас нелепые решения. Он вспоминал, к примеру, ее выступление в Ленинградском театре комедии, где шел острый, очень смешной сатирический спектакль драматурга Даля «Опаснее врага». Ленинградские партийные власти были недовольны театром, хотели спектакль запретить. Послушная печать уже поспешила его осудить. Разгорелись страсти. Потребовалось вмешательство министра.

Приехала Екатерина Алексеевна, посмотрела спектакль, собрала театральный актив.

— Главная ошибка театра, — заявила она собравшимся, — состоит в том, что роли отрицательных персонажей в этом спектакле были поручены лучшим актерам. Этого не надо было делать. Надо заменить актеров!

Этот эпизод стоит в ряду аналогичных нелепостей вроде запрещения актеру, игравшему в кино роль Ленина, сниматься потом в фильме в роли Николая Второго.

«И все же, — отмечал Михалков, — Екатерина Алексеевна, учась на ходу «править» советской культурой, старалась прислушиваться к советам профессионалов. При этом могла отстоять и разрешить к показу тот или иной спектакль, вызывающий сомнения у цензуры и партийных инстанций, поддержать награждение творческого работника вопреки мнению партийного руководства его организации. Как член коллегии министерства я принимал участие в заседаниях коллегии и наблюдал разные ситуации».

Однажды в своем кабинете Екатерина Алексеевна со слезами на глазах по-человечески призналась: «Понимаете, Михалков, сил больше нет! Ничего не могу «в верхах» пробить. Раньше могла, а теперь не могу! Не слушают! Не хотят понимать!»…

* * *

А Илья Сергеевич Глазунов рассказывал, как Сергей Михалков помог ему получить жилье в Москве. Однажды вальсируя с Фурцевой на новогоднем приеме в Кремле, Сергей Владимирович обратился к даме-министру: «Хочу попросить за хорошего человека, за художника Глазунова». Екатерина Алексеевна ответила: «Это тот, что наделал много шума на своей первой выставке? Слышала. Но сейчас Глазунов вроде бы где-то в

Сибири, преподает там черчение?» Михалков мягко возразил: «Нет, в Москве, скитается без жилья и работы».

И вскоре молодой художник с женой перебрались в восемнадцатиметровые «хоромы» в Кунцево. В новом жилище он мог работать, хотя требовалась настоящая, полноценная мастерская. Об этом он при случае уже сам сказал Фурцевой.

А получилось так. Итальянцы хотели пригласить Глазунова для работы над портретами известных итальянских деятелей. Как рассказывал Илья Сергеевич, начали бомбить наше Министерство культуры. Бомбили через специальные органы, через посольство. Фурцева вызвала его к себе и начала издалека: дескать, против него весь Союз художников, потому что считают идеологическим диверсантом. «Как же вам помочь? — спросила Екатерина Алексеевна. — Понимаю, что вы не Достоевский в живописи, как писали итальянские газеты». Она как-то по-доброму засмеялась. Тогда он вспомнил анекдот, как царь обходил раненых. Кто-то дом у него попросил, кто-то корову, а один солдат попросил рюмку водки и соленый огурец, но только чтобы сразу. Когда царь ушел, над ним стали смеяться. Однако ему-то как раз принесли, что он просил. А другие ничего не получили. И Глазунов поступил, как тот солдат: знал, что в Союз художников его все равно не примут, сказал, что нуждается в мастерской… И выпросил… «водку и закуску» — в виде исключения получил персональную мастерскую в так называемой Моссельпромовской башне в Калашном переулке.

А потом, через какое-то время тоже с разрешения самой Фурцевой прошла на Кузнецком Мосту его первая большая выставка.

Следующая же встреча Ильи Сергеевича с министром культуры была менее приятная. В Москве выступала труппа знаменитого итальянского театра Ла Скала во главе с великим Гербертом фон Караяном. Гости из Италии, зная о талантливом московском художнике, решили заказать ему портреты солистов миланской оперы: ни много ни мало — двадцать рисунков. Глазунов принес сделанные портреты на утверждение в министерство. Но с подачи официозных художников-соцреалистов Налбандяна, Шмаринова и других Фурцева устроила Глазунову разнос за то, что он якобы занимается саморекламой, а «сам уши, как пельмени, рисует!»

— Забирайте свою мазню, — сказала она Глазунову.

Но в этом случае Екатерина Алексеевна погорячилась. Те работы Ильи Глазунова теперь хранятся в музее Ла Скала…

Зато Илья Сергеевич уговорил Фурцеву записать звон ростовских колоколов. Сделать это было нелегко. Партийные и

министерские чиновники приходили в мистический ужас, причитая: «Звон колоколов — это же музыкальный опиум!» Екатерина Алексеевна, однако же, была женщиной решительной и сказала: «От одной пластинки не отравитесь, а для Запада — свидетельство широты наших взглядов». И пластинка вышла. И сразу же стала раритетом.

Людмила Зыкина о Фурцевой

Екатерина Алексеевна долгие годы дружила с Людмилой Зыкиной. Людмила Георгиевна рассказала, что познакомились они с Фурцевой на аэродроме: Екатерина Алексеевна провожала дочку и очень волновалась. Тогда Зыкина почувствовала, как сильно она любит дочь.

Вспоминает Людмила Зыкина:

«Она всех называла на «вы». С нее хотелось брать пример — элегантна, говорила всегда только по делу. Когда мы с ней познакомились, она дружила с народной артисткой СССР Надеждой Аполлинариевной Казанцевой — прекрасным музыкантом и умным, добрым человеком. Казанцева предложила мне учиться у нее вокалу, и я с радостью согласилась.

Екатерина Алексеевна хотела, чтоб я росла творчески: «Люда, вы должны следить за собой и быть всегда на высоте». Я ей очень благодарна за такое внимание ко мне, за дружбу, за людей, которых я через нее узнала. Она познакомила меня с удивительной женщиной Надей Леже…

Екатерина Алексеевна приглашала меня на приемы. Однажды был очень долгий официальный прием во Дворце съездов, и она предложила поехать пообедать в министерстве. Приехали, сели за стол, и тут неожиданно подошел ее заместитель Попов, поставил на стол бутылку коньяка, налил в ее рюмку. Нам надо было возвращаться на прием, где Екатерине Алексеевне предстояло выступать, поэтому я взяла и как бы шутя выпила коньяк из ее рюмки. Она все поняла: «Людочка, это вы правильно поступили».

Как-то она пригласила меня на праздничный концерт в Баку. Фурцева и Гейдар Алиев, тогда первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, сидели в первом ряду. Вдруг потух свет. Неожиданная заминка. Ведущий Борис Брунов попросил меня спасти положение и начать петь. Я спела несколько народных песен. Наконец свет зажегся, концерт продолжился. После концерта организовали банкет. Алиев предложил мне сказать несколько слов. Я начала говорить о себе, о своей жизни, о том, как я счастлива, что ко мне так внимательна Екатерина Алексеевна, удивительный, незаурядный человек. После банкета Фурцева тепло меня поблагодарила. Я не ожидала, что мои слова так ее тронут.

Екатерина Алексеевна добивалась своего, чего бы это ей ни стоило, потому что заботилась и пеклась об отечественной культуре повседневно. Могла просить, спорить, убеждать, доказывать, находить решение в любых, самых сложных, порой

тупиковых ситуациях.

Я очень стеснялась ее, особенно первое время, да и потом мы никогда не были в приятельских отношениях, как это представляется некоторым авторам — хулителям Фурцевой. Мы с ней женщины разного возраста, и она мне особо сокровенного никогда не доверяла. Я же с ней могла посоветоваться о чем-то, но никогда не просила о помощи. Всегда держала дистанцию во взаимоотношениях, поскольку она была для меня большим, государственного масштаба человеком.

В 1964 году Ростропович лежал в больнице. Фурцева буквально подняла на ноги всю столичную медицину в поисках каких-то дефицитных препаратов, чтобы ускорить процесс выздоровления музыканта, не раз ездила к нему, подбадривала, ежедневно справлялась у врачей о его состоянии здоровья.

Однажды она обратилась ко мне с просьбой поехать вместе с больницу, где лечились Алла Тарасова и Георг Отс, известнейшие всей стране артисты.

— Я с удовольствием поеду, только удобно ли?

— Удобно, удобно, — отвечала Екатерина Алексеевна.

— Надо за цветами заехать.

— У меня уже есть цветы.

Но я все равно купила еще два превосходных букета, и мы отправились в клинику. С какой теплотой говорила Фурцева обоим нужные, добрые, «вылечивающие» слова! Я слушала, и у меня слезы навертывались на глаза.

Однажды у танцовщиц из ансамбля «Березка» возникли трения с их руководителем — Надеждой Надеждиной. Они пришли в Министерство культуры жаловаться.

— Таких, как Надеждина, больше нет, — сказала им Фурцева, — таких, как вы, много. И давайте совместно искать пути выхода из создавшегося положения.

Она нашла такие точные слова, что посетительницы вышли из кабинета, вполне удовлетворенные оказанным приемом…

Фурцева высоко ценила мнение специалистов, профессионалов в том или ином вопросе культуры, хотя мне порой казалось, что она сама была эрудитом в любой сфере искусства. Однажды я не удержалась от вопроса:

— Неужели вы, Екатерина Алексеевна, во всем так хорошо разбираетесь? Например, в вокале, опере?

— Да вы что, Люда? Разве можно быть такой всезнайкой? Опера — жанр сложный, и я ничего не могу подсказать, скажем, Ирине Архиповой, как ей лучше исполнять какую-либо партию в спектакле и работать над ролью. Для этого есть Борис Александрович Покровский, которому в оперной режиссуре

равных в мире нет.

— Ну, а в скульптуре, архитектуре?

— То же самое. Вот как раз сегодня у меня будут Кибальников и Вучетич, и вы, если хотите, послушайте нашу беседу.

Я пришла к назначенному времени. Разговор между Вучетичем и Кибальниковым походил больше на спор. Екатерина Алексеевна умело вставляла в него то одну реплику, то другую, словно угадывала мысль каждого из спорщиков, делая иногда какие-то пометки в блокноте. И, в конце концов, сказала, что настал момент, когда надо подвести итог и подойти к результату. Оба во всем согласились с ней, хотя мнения своего она ни одному из присутствующих не навязывала.

Когда Юлия Борисова играла в кинофильме роль посла Советского Союза, то какое-то время сидела в кабинете Фурцевой и наблюдала за тем, как та разговаривает, как себя ведет, как жестикулирует…

Судьбе было так угодно, что последняя наша встреча, накануне ее смерти, состоялась в бане. В половине седьмого мы разошлись. Екатерина Алексеевна в этот вечер должна была присутствовать на банкете в честь юбилея Малого театра. Я пошла домой готовиться к поездке в Горький, там мне предстояло выступать в концерте на открытии пленума Союза композиторов России. После банкета Фурцева позвонила, голос такой тихий, усталый. «Люда, — говорит, — я вам хочу сказать: вы же сами за рулем поедете. Пожалуйста, осторожней!» Узнав о том, что Фирюбин еще остался в Малом, я спросила, не приехать ли мне к ней. «Нет-нет, я сейчас ложусь спать», — ответила она. На этом наш разговор окончился.

В пять утра я уехала в Горький, а днем мне сообщили о ее смерти. Я тут же вернулась. До моего сознания случившееся не доходило, и спрашивать ни о чем я не стала. Мне сказали, что у нее что-то с сердцем… Я знала о том, что у них с мужем были нелады, в последнее время они постоянно ссорились… У гроба я пела песню-плач:

Ох, не по реченьке лебедушка все плывет.
Не ко мне ли с горя матушка моя идет?
Ты иди-ка, иди, мать родимая,
Ко мне, да посмотри-ка ты, мать,
На несчастную, на меня…
Все плакали…».

* * *

Я думаю, что существовало как бы два образа Фурцевой. С одной стороны, как министр культуры, она должна была общаться со многими видными деятелями, смотреть спектакли, быть в курсе культурного процесса, руководить им. Кроме того, приходилось решать личные проблемы творческих людей и помогать им. Она умела слушать, это было ее замечательное качество. Знаменитая певица Ирина Архипова сказала, что за всю нашу историю лучшим министром культуры была именно Екатерина Фурцева, потому что она хорошо знала правила игры и цену компромиссу.

Но никто не задумывался о том, что в ней уживался принципиальный коммунист, когда она выступала на пленумах и совещаниях, и легко ранимая женщина, которая могла сомневаться, горячиться, плакать, другая Фурцева — одинокая, не чувствовавшая тепла и опоры мужа. Она говорила мне, что о ее личной жизни практически никто не знает. Никому не рассказывала, что после тяжелого рабочего дня, который иногда длился чуть ли не до полуночи, приходила в квартиру, где ее по сути никто не ждал. Дочь жила отдельно, а чинуша-муж Фирюбин стал ей фактически чужим. Не может же министр плакаться о своей судьбе каждому, кто переступает порог ее кабинета. Скажем, она дружила с Олегом Ефремовым, который нередко приходил в министерство со своими рабочими проблемами. Да, она с ним дружила, но дистанцию в выражении личных эмоций, выплескивании наболевшего никогда не переходила. Свои личные, женские тайны она могла поведать только ближайшей подруге Наде Леже, которой она доверяла. А Надя, любя Екатерину Алексеевну, по-женски ее очень жалела. Она говорила мне: «Кате очень тяжело, жизнь с Фирюбиным у нее не сложилась, она очень страдает».

Но сама Екатерина Алексеевна считала, что личная сторона ее жизни никоим образом не должна стать предметом сплетен и разговоров. Глядя на нее, всегда ухоженную (ходили слухи, что в 65-м году по примеру своей подруги Любови Орловой она сделала пластическую операцию), веселую и жизнерадостную, все были уверены: у нее все в жизни хорошо.

То есть в этом смысле она была закрытой. И никто не знал, что на самом деле было у нее в душе. В одном из интервью Людмила Зыкина сказала: «О ней никто никогда не заботился. Она никому была не нужна». Фурцева хорошо знала цену одиночеству. Но такова плата за власть.

Одинокая женщина

Фурцева жила, работала, командовала культурой и искусством в сложное время. Народный художник России Михаил Курилко как-то заметил, что красивая, обаятельная женщина среди мощного коллектива вождей — само по себе достаточно необычно. «Мы все помним торжественную галерею руководителей страны, портреты которых строем стояли вдоль Гостиного Двора на Невском проспекте перед очередным революционным праздником, — размышлял он. — Гигантские портреты вождей в черном одеянии с плечами таких же гигантских размеров. Среди них — одинокая женщина с такими же плечами». Ему, как художнику, вся эта очень разная по характеру и человеческой ценности компания уже тогда внушала тревожные чувства. Он говорил, что объединенные ремесленным неумением портретиста, мужские фигуры словно давили единственную среди них женщину, защищенную только нарисованными мощными плечами.

И вправду, драматические события в жизни Екатерины Алексеевны, жестокая несправедливость по отношению к ней коллег ощущались многими во всей своей неприглядности.

Особенно эту диспропорцию ощущали деятели культуры, понимая всю сложность положения Фурцевой в кремлевском окружении. Ведь мало кто из этого окружения посещал театры, а по уровню культуры в стране судили только по гала-концертам в Большом театре и Кремлевском дворце, куда были вынуждены ходить по праздничным и юбилейным датам. Тот, кто с пониманием относился к ее функциям и разбирался в хитросплетениях лабиринтов власти, сочувствовал и с уважением относился к деятельности Екатерины Алексеевны.

Из воспоминаний художника-реставратора Саввы Ямщикова:

«Первая встреча с Екатериной Алексеевной была случайной, но запомнившейся. Я учился на первом курсе исторического факультета МГУ, тогда он был на Моховой. Как-то выходил из метро у Театральной площади, шел к университету мимо здания Совета министров, напротив гостиницы «Москва». Вижу, у входа в Совмин стоят черные правительственные машины, кажется ЗИСы, тогда не было такой охраны, как сейчас. На тротуаре группа мужчин, присмотрелся — Косыгин, Громыко и другие, рядом с ними стояла женщина, я сразу обратил на нее внимание — редкой красоты ноги, элегантное пальто, красивая прическа, не мог понять, кто это, решил — иностранка. Потом рассказал своим друзьям и был удивлен, когда от них узнал, что это была

Фурцева.

Следующий эпизод тоже запомнился. Мы с другом были в консерватории, сидели в первом ряду, с приветственным словом выступала Фурцева. Опять обратил внимание на ноги, настолько они были изящны, что это осталось в памяти, так же как ее облик и манера говорить.

Уже позже мне довелось иметь с Екатериной Алексеевной разговор по работе, когда я понял, что она может решать дела без проволочек.

Хрущев собирался ехать на пароходе по трем скандинавским странам. К этому событию приурочили выставки в Стокгольмском Национальном музее. Привезли экспонаты — подарки шведских королей царской династии Романовых — седьмой век, серебро. В постоянной же экспозиции музея красовалось серебро шведское. Оно блестело, сверкало, и рядом с ним привезенные из СССР раритеты казались тусклыми, неухоженными. Местный реставратор, российский эмигрант первой волны Борис Титов, увидев наше серебро, предложил мне почистить его специальной пастой. Я растерялся, не зная, как быть: ведь в Москве меня могли обвинить в самовольном снятии патины. Посоветовался с советским послом Гусевым, он предложил позвонить Фурцевой и все ей объяснить. Набрал номер московского телефона и дал мне трубку. Я, конечно, волновался, но, взяв себя в руки, объяснил министру суть проблемы. Екатерина Алексеевна дала команду: «Чистите, мойте, если это надо». И вдогонку послала в посольство телеграмму с разрешением «обновить» серебро. Я как в воду глядел — потом в Москве мне влетело, но я показал телеграмму Фурцевой, и все обошлось.

С ее решимостью я сталкивался не раз. Мои друзья Василий Ливанов и Сергей Алимов нашли чердак за зданием Большого театра, со стороны служебного входа. Нам нужно было помещение для художественных мастерских. Решить на уровне райкома мы ничего не могли — место считалось «запретным». Вася Ливанов попросил о помощи заместителя министра культуры Попова. Вопрос мурыжили несколько месяцев. Тогда Ливанов и Алимов пошли на смелый ход. Дверь в министерство была открыта, с внутренней стороны сидел пожилой швейцар, широкая лестница вела на второй этаж к кабинету Фурцевой. Ребята разбежались через улицу Куйбышева и чуть ли не взлетели на второй этаж, где увидели Фурцеву. Застыли перед «светлыми очами». Она будто не удивилась нашему появлению: «А что у вас?» Мы обо всем рассказали. Екатерина Алексеевна внимательно выслушала, дала свое согласие и поставила подпись на нашем заявлении, разрешив постройку мастерских…

Банкет у Зураба Церетели. Как всегда повсюду нужные люди… Здесь же Фурцева. Играет оркестр. Многие танцуют. Екатерина Алексеевна шепчет мне: «Хорошо бы сыграли «Черемшину». Эти слова услышал Церетели. Принесли ноты, и минут через двадцать зазвучала мелодия «Черемшины». Я посмотрел на Екатерину Алексеевну — в ее глазах блестели слезы…»

* * *

Личная жизнь Фурцевой складывалась не так успешно, как карьера. После одиннадцати лет жизни с первым мужем (по словам дочери Светланы, они не были расписаны официально, возможно, считая это формальностью) — болезненный разрыв накануне рождения дочери. Десять лет одиночества. Трудно поверить, что такая красивая женщина не обращала на себя внимания мужчин, но, как считала Светлана, мама всегда выглядела чуточку недоступной — она находилась выше обычного мужского представления о женщине, жене…

Потом появился Николай Павлович Фирюбин. Он работал в Моссовете «заместителем мэра» и вполне осознавал свою значимость. Светлана говорила, что Фирюбин был достаточно интересным мужчиной, и она может понять маму, которая им так увлеклась.

Все, кто его знал, отмечали, что человек он был неглупый, образованный, очень хорошо говорил по-французски, поскольку рабочим, еще до войны по обмену попал во Францию и с тех пор очень любил Париж. При этом блестящий мастер испортить окружающим настроение. Галина Волчек всегда расстраивалась, когда он приходил в театр вместе с Екатериной Алексеевной.

Однажды мы оказались рядом в театральной ложе. Он по обыкновению был не в духе, ворчал, что всегда голоден, потому что жена не занимается его бытом, и ему приходится самому себе варить суп из бульонных кубиков. Это было безусловным враньем: Фирюбин получал паек, как и все крупные партийные работники тех лет, пользовался закрытой столовой, где готовили очень вкусно, да и цены были вполне приемлемые. Светлана же, наоборот, рассказывала, что у мамы на кухне всегда была чистота, домашний обед. Она даже клюкву для мужа сама протирала, считая, что эта ягода понижает высокое давление…

По словам дочери, Матрена Николаевна невзлюбила зятя сразу, да и Светлану предупреждала, что родной она для него все равно не станет — у него свои дети. А может, понимала своим

острым умом, чувствовала материнским сердцем, что дочь не будет с ним счастлива.

О сложном характере Николая Павловича слухи ходили всегда. «Он был человеком увлекающимся, но ничем не умел дорожить», — говорили о нем.

Начинался их роман красиво и бурно. Фирюбин был женат, но Фурцева ничего не требовала, приезжала к нему сначала в Чехословакию, потом в Югославию, куда его перевели послом. Для нее эти свидания становились маленькими праздниками. Об их отношениях, конечно, знали «наверху», но Фурцеву не занимали сплетни и пересуды. Через какое-то время Фирюбин оставил семью, и они поженились. В 1957 году его назначили заместителем министра иностранных дел.

После красивого начала наступили будни, становившиеся все более серыми. Светлана с грустью вспоминала: «Их последние годы были сложными. Вероятно, тогда что-то произошло, и это мешало взаимопониманию. Прежде всего, потому, что Фирюбин очень плохо старился. Разницы в возрасте у них практически не было, но Николай Павлович, в отличие от мамы, чувствовал свои годы. Постоянно старался подчеркнуть свою значимость и не совсем деликатно любил повторять: «Плохо быть дедушкой, но еще хуже быть мужем бабушки». Признаться, мне трудно быть к нему объективной. Я утверждаю, что женского счастья он маме не дал. Другое дело, что мама всегда довольствовалась тем, что имела. Оптимисткой была! Всему отдавалась без остатка. И очень любила жизнь». После замужества мамы Светлана захотела жить с бабушкой. Несмотря на огромную рабочую нагрузку, постоянную занятость, Екатерина Алексеевна заботилась о матери и дочери, старалась выкроить время для общения с ними.

А отношения Екатерины Алексеевны с мужем довольно быстро разладились, он ревновал: служебное положение жены было выше, с ней считались в правительстве.

Светлана говорила, что на похоронах он рыдал над гробом, все порывался встать на колени, много и долго говорил, какая мама была прекрасная жена, как хорошо они жили. Но после смерти мамы вскоре женился, подождал лишь несколько недель.

Смерть Фурцевой

Летом 1974 года в жизни Фурцевой случились большие неприятности. По настоянию дочери она построила под Москвой дачу. Строение было зарегистрировано как личное, хотя в распоряжении министра культуры была и дача государственная. Новостройка получилась ни шикарной, ни дорогостоящей, но газеты по наущению сверху раздули эту историю, уличив министра в стяжательстве. Дело в том, что некоторые стройматериалы приобретались не по коммерческим, а по государственным ценам.

К нарушению этого правила наверху относились достаточно серьезно. Но первым его нарушил Брежнев, семья которого потихоньку обзавелась загородным домом. Потом, то один министр, то другой последовали примеру генсека. Уступая настойчивым просьбам дочери, пошла на это и Фурцева. Но, к ее чести, она тщательно следила за тем, чтобы все купленные стройматериалы и труд рабочих оплачивались из личных средств.

Тем не менее, в нее вцепились мертвой хваткой. В итоге, как министру культуры СССР, ей предстояло держать ответ перед самой грозной инстанцией — комиссией партийного контроля при ЦК КПСС. И тогда Екатерина Алексеевна решила позвонить Брежневу. По-видимому, она повинилась перед ним, что взяла грех на душу — завела собственную дачу. Но и вы-то, дескать, там хороши: набросились на меня, единственную среди вас женщину.

Брежневу ничего не оставалось, как отдать распоряжение прекратить расследование «дачного» дела.

Кириленко настаивал на создании комиссии по расследованию инцидента, но у него сорвалось. Фурцевой объявили выговор, дачу постановили отобрать. Деньги же вернули. Семья положила их на сберкнижку.

* * *

О смерти Екатерины Алексеевны много уже говорено и написано. Мы с Василием Феодосьевичем приехали в квартиру Фурцевой и Фирюбина утром, на следующий день после ее кончины. Надо заметить, что раньше в этой квартире я ни разу не была. Она показалась мне весьма неуютной, почти казенной. Помню ощущение какого-то холода. Хотя квартира хорошая, большие окна, зимний сад при входе… Мы сидели то ли в гостиной, то ли в столовой… Добротная, дорогая мебель,

красивые вазы, но уюта не ощущалось. Не чувствовалось семейного тепла.

Фирюбин сообщил, что тело увезли сразу же. Он подробно рассказывал, как Екатерина Алексеевна вернулась из театра, пошла в душ. Приехавшие потом врачи объяснили, что к остановке сердца могла привести резкая смена горячей и холодной воды. Тем более что Екатерина Алексеевна пребывала в состоянии очень сильного возбуждения. Помню, Фирюбин повторял, что на сердце она не жаловалась, но последнее время пребывала в каком-то напряженном, нервическом состоянии.

Позже я поняла возможную причину случившегося. Накануне Екатерина Алексеевна должна была прочесть приветственное слово на юбилее Малого театра. Но произнести речь ей не дали, сообщив за несколько часов до торжества, что выступать будет Подгорный. Человек чувствительный и по-женски ранимый, она почувствовала интригу, чиновничьи козни. И поняла, что завтра ее могут просто уволить. Все эти события могли привести к инфаркту…

Кухарского потрясла эта трагедия, Фурцеву он очень любил. Искренне. Знал ее недостатки, часто с ней спорил, но дружеские отношения от этого не портились. Хотя бывало так, что, поспорив, они расходились на несколько часов «в разные углы». А на другой день, когда я звонила ему на работу, а звонила я через секретаршу, и спрашивала, можно ли соединиться с Василием Феодосьевичем, та шутливо говорила: «Сейчас нельзя. У него Екатерина Алексеевна, они мирятся».

Муж отмечал соединение в Фурцевой сильной харизмы и женского обаяния. И еще — стремление понять, познать, разобраться, дойти до сути… Она не вела себя, как Михайлов или Демичев, предыдущий и последующий министры культуры, которые сторонились тех, кто как раз и представлял культуру страны. Фурцева же вошла в эту среду сразу, и многие музыканты, писатели, художники поверили ей…

Вместо послесловия

Я в первый раз встретилась с Екатериной Алексеевной Фурцевой в 1950 году, когда, перейдя на пятый курс Ереванской консерватории, поехала на летний отдых в сочинский санаторий «Приморье». Мне повезло, моей соседкой по комнате оказалась удивительно обаятельная, статная, подтянутая, очень приятной внешности молодая женщина — секретарь Московского городского комитета партии.

Екатерина Алексеевна много плавала, гуляла, прекрасно играла в волейбол. Я узнала, что она родилась в Вышнем Волочке и очень любила спорт, особенно плавание. Советовала и мне заниматься спортом. Было приятно, что Екатерина Алексеевна расспрашивала об учебе, о родных, об Армении.

Проведенные вместе вечера запомнились мне человеческим теплом и дружеской атмосферой.

Я уезжала раньше. На прощание, поцеловав меня, Екатерина Алексеевна сказала: «Оставайся всегда такой, какая ты есть!» Сама же она запомнилась стройной, улыбающейся, энергичной… С легкими светлыми прядками, развевающимися от южного ветерка.

Если говорить сегодняшним языком, я бы назвала фигурку, стройные ноги и обаяние Фурцевой сексапильными. Даже в обычных летних светлых сарафанчиках она выглядела весьма привлекательно. Общительная, дружелюбная, но привычного для южного города курортного романа или даже невинного легкого флирта, как мне показалось, она не допускала. Я замечала, что мужчины провожали ее взглядом, но она соблюдала дистанцию в общении с представителями противоположного пола. Чтобы мужчина начал ухаживать за женщиной, он должен получить от нее некий сигнал. Екатерина Алексеевна этого сигнала не давала: дружеское общение — да, но на мужские знаки внимания она не реагировала. Ее беззаботность, навеянная солнцем и ласковым морем, сменялась легкой задумчивостью, радость — светлой грустью, а от всего облика веяло теплотой и заботой, свойственными русским женщинам…

Надо сказать, что Фурцева прекрасно одевалась, предпочитая шить на заказ. Ее муж, будучи послом в Югославии, заказал специальный гипсовый манекен, полностью повторяющий фигуру жены, и заказывал для нее платья с учетом ее вкуса и излюбленной цветовой гаммы. Она следила за модой и хотела, чтобы все советские женщины красиво и модно одевались.

После посещения Общесоюзного дома моделей Екатерина

Алексеевна собрала в горкоме партии на совещание столичных закройщиц, заведующих ателье и грамотно, профессионально говорила с ними о новых фасонах и модных тенденциях.

Она помогала молодым талантливым модельерам, например, Славе Зайцеву, услугами которого рискнула воспользоваться. Случилось это так.

Однажды, когда Фурцева собиралась идти на чествование Юрия Гагарина, она решила, что в этот торжественный день на ней должно быть маленькое черное платье — скромное и торжественное. Заказать его решили молодому, но подающему большие надежды модельеру Славе Зайцеву. Он оглядел стройную, почти девичью фигуру и спросил: «Что бы вы хотели?» Фурцева пожала плечами: «Что вы, Славочка, меня спрашиваете? Мне нужно маленькое черное платье, а какое — не суть важно. Важно, что я вам доверяю». Екатерина Алексеевна действительно обладала прекрасным чутьем на хороших специалистов. У нее отсутствовали амбиции, которые многим мешают довериться людям, понимающим в сути вопроса значительно больше. Зайцев слегка смутился: «Мне трудно, я не знаю ваших вкусов. Но понимаю, что ваш образ — это образ человека скромного, деликатного». Она чуть заметно кивнула: «Я человек из простой среды, и ярких платьев не могу себе позволить носить. Вы же видите, я даже без украшений хожу. Единственная моя просьба к вам, Слава, я не очень люблю ходить на примерки. Поэтому, если возможно, снимите мерки, а все остальное делайте, как хотите».

Зайцев обрадовался: такое предложение развязало ему руки. В данном случае он не ограничивался рамками, как это было позже, когда он общался с семьей Шеварднадзе, супругой Косыгина или прочими представителями власти и членами их семей, которые всегда его контролировали: «Этого нельзя и этого нельзя, а здесь, пожалуйста, уберите, а тут прибавьте». С Фурцевой у модельера установилось полное взаимопонимание.

Маленькое черное платье получилось довольно простым и весьма деликатным: аккуратная горловинка, «правильная» длина до колена, и все по фигуре. В его «объятиях» Екатерина Алексеевна чувствовала себя легко, держалась по обыкновению скромно и с достоинством, выглядела женственно и элегантно.

Недаром сам автор наряда Слава Зайцев сравнил заказчицу с Жаклин Кеннеди, но лишь по осанке и умению держаться. Фурцева более сильная личность. Без надлома и женской ранимости, хотя, может быть, она это лучше скрывала.

Кинорежиссер Владимир Наумов называл образ Фурцевой «готическим», сравнивая ее стиль с готической архитектурой.

Галина Волчек считала ее очаровательной, не лишенной

природного вкуса. Вспоминая ее знаменитое «черное платье», Волчек говорит, что у каждой женщины должно быть такое в гардеробе, но сама увидела его впервые на Фурцевой. Министр и… образец элегантности.

Падчерица Екатерины Алексеевны, Маргарита Фирюбина, мне говорила: «Маленькое черное платье приводило в восторг не только женщин, но и мужчин. Выходит министр на прием, платье черное, узенькое, стройные ножки в аккуратных черных туфельках, и все мужчины: «А-а-ах!»

* * *

Если посмотреть на фотографии Фурцевой тех лет, замечаешь еще одну деталь: стиль в одежде очень схож со стилем ее любимой актрисы Марецкой. Нарядные блузки с круглыми воротничками, элегантные небольшие вырезы платьев, одинаковая длина юбок, любовь к строгим английским костюмам и прилегающим силуэтам. Что это? Совпадение? Можно, конечно, предположить, что две женщины, умные и с хорошим вкусом, совершенно самостоятельно нашли свой собственный стиль — стиль строгой элегантности, но, вероятней всего, Екатерина Алексеевна воспользовалась находками Марецкой, которую старательно копировала в жизни. Конечно, копировала не слепо — это было бы слишком очевидно, а поэтому, скорей, комично — просто использовала удачные находки, переделывая, примеряя на себя.

В конце концов, Фурцева и сама стала предметом для подражания — деловые дамы копировали ее манеру одеваться, а особенно прическу: волосы, зачесанные наверх и собранные на затылке. Это называлось «Фурцева для бедных». Например, стала так же причесываться секретарь МГК партии Алла Шапошникова. Но если Фурцевой эта прическа очень шла, она как будто с ней родилась, то Шапошникова — невысокого роста, простоватая, полноватая, без шеи — с кукишем на затылке выглядела комично.

Надо сказать, что Фурцева умела себя подать. Есть знаменитая фотография, на которой она стоит, кажется, между Софи Лорен и Элизабет Тейлор. Это во время кинофестиваля в Москве. Так она выглядит не хуже мировых кинозвезд. Видно, что у них все нарисованное: глаза, брови. А она естественная, почти без косметики. Настоящая русская красавица…